



ПРОЗА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Михаил Попов



НА КРЕСАХ ВСХОДНИХ

Проза Великой Победы

Михаил Попов

На креслах восточных

«ВЕЧЕ»

2019

Попов М. М.

На кресах восточных / М. М. Попов — «ВЕЧЕ», 2019 — (Проза Великой Победы)

ISBN 978-5-4484-8379-0

Роман Михаила Попова «На кресах восточных» («На восточных рубежах») воссоздает картину грандиозного партизанского движения в Белоруссии во время Великой Отечественной войны, освещая тему народной войны с немецкими оккупантами. В центре событий – простая белорусская деревня, где под гнетом нацизма отдельные человеческие судьбы сплетаются в сложную, драматическую сагу.

ISBN 978-5-4484-8379-0

© Попов М. М., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Книга первая	6
Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	13
Глава третья	17
Глава четвертая	26
Глава пятая	32
Глава шестая	38
Глава седьмая	43
Глава восьмая	46
Глава девятая	54
Глава десятая	58
Глава одиннадцатая	62
Глава двенадцатая	71
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Михаил Попов

На кресах всходних



© Попов М.М., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru

Книга первая На восточных рубежах

Часть первая

Глава первая

25 марта 1944 года. Пос. Городок, тылы 43-й и 6-й гвардейских армий 1-го Прибалтийского фронта.

– В последний раз с ним еду, – тихо сказал сержант Черпаков, сплюнул и ударил каблучком ялового офицерского сапога в середину затянутой тонким льдом лужи перед бампером «студебекера».

Ефрейтор Базилук растерянно общупал свою шершавую, бугристую физиономию огромными негнуцимыми пальцами – ну, дела! Было известно, что сержант с лейтенантом не ладят, но как-то... а теперь вот... Лейтенант лежит на стопке мешков в кузове, грызет, как всегда, соломинку, а сержант злобно плюется и, кажется, настроен решительно.

Базилук, чуть пригибаясь, оглянулся – не дай бог, кто-нибудь обратит внимание, и так ведь они ходят по лезвию уже полтора месяца. Тут бы помалкивать да делать свое дело, а они принялись характерами меряться. Ладно – никто в их сторону не смотрит. Наговаривают, мол, хозчасть спит до обеда, а все уже в разъездах, только «эмка» подполковника торчит у крыльца. В общем, все как всегда. Получили адрес и документы, и надо двигать.

Черпаков тоже оглянулся:

– Садись за руль.

Базилук шумно почесал подбородок. Старшим машины, по документам, естественно, был лейтенант, ну да ладно, послушаемся сержанта, коли уж командир замечтался. Он и инструктаж самого Василькова только что слушал с таким же задумчивым видом, не сказал ни слова.

«Студер» завелся, дернулся, словно колеса за ночь примерзли, покатил к воротам по окаменевшим от утреннего морозца выбоинам. Невысокое, но слепящее солнце било прямо в воротный проем, так что гаражный двор переливался, как хранилище Алмазного фонда. Постовой у ворот приветственно зевнул и отвернулся, щурясь; ноя и полязгивая бортовыми замками, грузовик вырулил на мощенную булыжником мостовую. У входа в штаб дивизии нос к носу подрагивали на холостом ходу два «виллиса» с закутавшимися в полушубки шоферами.

Лейтенант покачивался в кузове между двух деревянных ларей, сонный на вид и задумчивый, – он уже несколько дней такой.

Черпаков, человек с резкими поворотами в поведении, то бурчал, а усевшись, сразу же с места завел свою обычную шарманку. Был он ростовчанин, и был он балагур, но не из природно остроумных. Его кредо: нахальство – второе счастье. Горе той роте, где окажется такой «Тёркин», – всю душу выест несмешным и неуместным юморком. Черпаков, специально высунув в окно локоть и голову, сыпал пошловатыми прибаутками – знал, что лейтенант их терпеть не может, терзал «тонкую нервную систему». Только до лейтенанта мало что долетало. Базилук же регулярно похохатывал, причем не в тех местах, где смеяться было естественней всего, отчего Черпаков креп в убеждении, что «хохол» – человек совсем тупой. Базилук совсем не был тупым, он уже всю подумывал, как бы ему сорваться из их опасной команды, потому

что добром крепнувший конфликт не кончится. Лейтенанта им подбросил зам комполка по хозчасти подполковник Васильков полтора месяца назад вместо выбывшего по ранению крестьянской косой толстого, спокойного капитана Батина. За ним Базилюк чувствовал себя как за каменной стеной. Лейтенант был тип спокойный, даже отвлеченный, никогда не психовал сам и не дергал по пустякам, но именно этим слишком уж наплевательским отношением и настораживал. Всякое дело рано или поздно мстит, если к нему без уважения. Через брезгливую губу. А тут он еще пару раз щелкнул по носу Черпакова (в переносном смысле), и, главное, без всякой такой уж нужды, походя, – просто не понравился человек, и все. Но так же нельзя. Тем более при их рискованном ремесле. И теперь злопамятный Черпак все копит и копит на него какую-то месть. Базилюка не оставляло чувство, что они постоянно висят на волоске и вот-вот все полетит в тартарары.

– Нам не надо девятьсот – два по двести и пятьсот! Нам не надо килограмм – три по триста и сто грамм!

Базилюк повернул к сержанту бугристую харю с наведенной на нее улыбкой, чтобы показать – он такой юмор понимает и уважает.

– Стой! – вдруг тихо и четко, как всегда на работе, скомандовал Черпаков. Поста здесь прежде не было, а теперь вот примостились за кирпичной руиной; да это ничего особенного, комендантская рота выпрыгивает из штанов после внеплановой проверки, даром что фронт стоит на месте уже какой месяц, и, по всему судя, немец хорошенько пригрелся в витебских квартирах и соваться к нам сюда не станет.

– Скажи ему, – приказал Черпаков, ткнув в крышу кабины кулаком.

Лейтенант левой рукой и всем корпусом уже перевалился через борт, держа в руке и пропуск в прифронтную зону, и свежее предписание с еще липкими печатями. Патрульный скользнул специальным своим взглядом по бумагам, в этот момент у Базилюка всегда холодело то там, то здесь, хотя, казалось бы, бумаги-то настоящие, и в ларях ничего, на дело идем, а не обратно. Но это уж раз привязалось, не подавить.

Поехали!

– Наша хата гонтой крыта на углу...

До рокады пришлось мелькать в прохладном весеннем воздухе солидными печатями еще дважды, но все шло, в общем, по-прежнему. Грузовик неторопливо катил по промерзшему проселку, перемальвая лед в мелких лужах. На рокаде движение гуще не стало. Обогнали пару самоходов, а потом вереницу пустых телег, на козлах каждой – крепкая тетка в темном платке, во главе каравана – однорукый мужик с папиросой в зубах. С папиросой, не самокруткой – умудряются они здесь жить!.. Базилюк поражался, когда удавалось находить в подполе целые окорока вяленого мяса и бочонки с пивом. А вокруг танковые колонны шляются. Это тебе не тверские леса.

– Притормози! – внезапно прервал свою бодрую болтовню Черпаков. – Пора уже совпасть приметам.

И почти сразу ладонь лейтенанта хлопнула сверху по кабине. Он там, наверху, развернул карту, полученную нынче от подполковника. Поворот тут был один – направо, в тесную, даже как бы внезапную, щель между двумя чахлыми осиново-березовыми рошицами, в объезд танкового остова с вывернутыми, запорошенными снежком внутренностями. Башни поблизости от сгоревшего «фердинанда» не было. Это было странно, оторвать башню у этой железной арясины можно прямым попаданием, только куда и зачем ее утаскивать?

Повернули, проселок петлял, норovia вообще куда-нибудь исчезнуть из-под колес. Не исключено, что через эти места ничьи части, ни наши, ни немецкие, не проходили.

Напряжение в кабине усилилось – теперь, если придется наткнуться на патруль, придется разговоры разговаривать, мол, товарищу подполковнику захотелось свежего молочка, хотя какое об эту пору...

Миновали два основательно спаленных хутора, нет, кто-то тут все же поработал – интересно, наши или немцы? Впрочем, неинтересно. Проселок все так же покачивал громадный грузовичище на мелких длинных волнах, лейтенант грыз свою солому – откуда он только берет, – а Черпаков сплевывал в окно, как будто в кого-то целился, наверно в свои матерные мысли.

Дом, обозначенный на карте подполковника, показался неожиданно, Базилюку пришлось жать на тормоза, чтобы никого не спугнуть внезапным появлением.

Выгрузились, осмотрелись. Сейчас надо быть особенно настороже. Чем дальше забираешься в операцию, тем труднее будет объяснить, что ты тут делаешь, если найдется кому спросить. Забрались на четвереньках на холм и засели в кустах дикого барбариса, продолжая осматриваться.

Дом был хороший, под черепичной крышей, и не один. Сарайчиков три штуки, погреб. Что-то держат, не курей – шумная птица, не для военного времени. Коровка с телком. Свинья какая-нибудь.

Можно было выдвигаться, отягчающих обстоятельств не наблюдалось. Хорошо бы хозяева приняли их за квартирьеров или за команду из части, что встала неподалеку, пожаловавшую за съестным. Хуже, если все поняли и побегут. Базилюк бегать не любил.

Дом был жилой, кирпичный, в четыре окна по фасаду, и с езонинчиком; окна заклеены накрест бумагой или тряпками. Минут около десяти лейтенант, сержант и ефрейтор молча изучали обстановку, стараясь как можно точнее определить, с чем придется столкнуться. Из трубы дымок, хозяин дважды прошел по выложенной плоским камнем тропинке от заднего крыльца к свинарнику.

– Вот ведь игра случая и природы, – опять сплюнул Черпаков, – кому-то черная могила или голодуха, а у кого-то хозяйство во фронтовой полосе колосится.

Базилюк молча улыбнулся. Ему не надо было себя настраивать на предстоящую работу, сержант же при всей своей лихой повадке и разбитном характере должен был себя убедить, что он имеет право сделать то, что сейчас надо сделать. Лейтенант молча стоял чуть в сторонке. Он был на полголовы выше и Черпакова, и Базилюка, можно сказать – худой, но ефрейтор знал, какой он худой: сплошная злая жила, задушит одной рукой, а другой будет в это время соломинку во рту поправлять. По его лицу нельзя было определить, что там делается в его башке с барскими залысынами. Говорили, что у него была контузия, от этого он и щурится. А может, и просто от солнца.

– Ну?

– Не меньше трех человек, – сказал лейтенант.

Черпаков хмыкнул, он сам засек только двоих. Хозяин и хозяйка; хозяин – мужик за пятьдесят, с очень заметной хромотой. Базилюк тоже хмыкнул – местные остзеи притворяются, что не совсем немцы и издали кричат «Гитлер капут!», а глаза непонятные. Это очень подозрительно, как это они отсиделись почти в полной целости, война вот-вот совсем укатит дальше на запад. Пронесло, стало быть.

А вот и не пронесло.

Черпаков ждал команды: как ни относишься к начальнику, а они все ж на войне.

От того боярышника, за которым они хоронились, до забора было шагов двадцать. Лейтенант тихо, не поворачивая головы, сказал Базилюку, чтобы шел к хлеву, сейчас хозяин туда потопает. Черпаков хмыкнул, ефрейтор только выпятил нижнюю губу: потопает – значит, и мы потопаем.

Лейтенант сдвинул вперед выгоревшую пилотку и решительно шагнул к дому.

Хозяин вышел на заднее крыльцо с большой миской и, прижимая ее к животу, пошел к хлеву, куда и было предсказано лейтенантом.

Через невысокий заборчик, подбитый с той стороны крыжовенными и смородиновыми кустами, перемахнули одновременно, как по команде.

– Старуха, – сказал лейтенант Черпакову.

Тот только поморщился: сами с усами, не надо напоминать.

Хозяин обернулся, рот раскрылся, мучительная искра пробежала по металлической оправе очков, миска упала, осыпав шелухой незашнурованные немецкие военные ботинки. Базилюк подлетел к нему в несколько громадных прыжков, шинель он обрезал очень коротко, чтоб не мешала двигаться, и одним очень ловким движением вогнал по рукоять выхваченный из-за голенища штык-нож меж отворотами теплой безрукавки. Старик осел без единого звука.

Старуха перебирала фасоль на покрытом клеенкой столе. Что будет с ней делать Черпаков, лейтенант смотреть не стал, он даже не вошел на кухню. Прошел в коридор. Вправо и влево вели две одинаково плотно закрытые, застекленные поверху двери. Держа в поле внимания дверь, ведущую налево, он сместился к правой и надавил на нее локтем руки, в которой держал пистолет. Открывшаяся комната была, видимо, спальней: кровать, комоды вдоль стены, миленькие занавесочки на окнах, стул, столик у кровати, подсвечник, распятие на стене – никого.

Резко и бесшумно переместился лейтенант по коридору к противоположной двери, толкнул ногой и сделал шаг назад. Тихо. Резко вошел в комнату – гостиная, картинка на стенах в рамках, два продавленных кресла, стол с кучкой солонок в центре, перечник посередине. Культурно живут. Осмотрелся еще раз, явно недовольный результатами обследования жилища.

Из коридора в «гостиную» вошел Черпаков, под мышкой он держал двухлитровую банку с широким горлом; местные в таких емкостях с притертыми крышками хранили жареное мясо, залив слоем свиного жира. Сержант держал на острие своего ножа аппетитный кусок. Жир капал на выскобленный до бумажной белизны пол. Лейтенант недовольно отвернулся, но было бы смешно заводить речь о чистоплотности с человеком, который жрет мясо ножом, которым только что перерезал горло старухе. Вытри хоть.

– Что она сказала? – спросил лейтенант. Голос у него был негромкий, но отчетливо командирский.

– А, не важно, – беспечно отвечал Черпаков, – Базила нашел багор.

В мелко переплётчатое окно было видно, как Базилюк направляется с клювастой деревягой наперевес к колодцу.

– Здесь есть еще кто-то, – сказал лейтенант.

Черпаков пожал плечами: хочешь так считать – считай. Сам он больше никого не высмотрел, пока они стояли там, за кустами. А поскольку багор найден, то и дело можно считать сделано. По какой-то непонятной причине почти все хозяева, которых навещала бригада, курируемая подполковником Васильковым, почти все хуторяне тутошние прятали ценности во внутренней стенке колодца, полагая, что никому-никому не придет в голову их там искать. И, несмотря на то что уже не меньше четырех «кладов» было выковыряно, слух о том, что колодец не так надежен, как кажется, не пошел по округе. Объяснялось все просто: некому было рассказать. Первого «изобретателя» пытали даже, это было еще до появления лейтенанта. Потом догадались – достаточно найти на участке багор. Все у них по правилам, дорожки красиво выкладывают плоским камнем, окна в мелком переплете, тайник в колодце – такой народный характер.

– Здесь еще кто-то есть.

Черпаков вышел на крыльцо. Базилюк до пояса окунулся в колодец и комментировал сапогами процесс ловли заветного кольца крюком настырного багра. Поймает и выдернет из стенки колодца бочонок или ящичек.

– Помоги! – высунувшись, крикнул он сержанту.

Тот поставил на сруб банку, ножик сложил и засунул в карман. Через десять минут небольшой металлический сундучок, пахнувший холодной медью и влажной землей, лежал в кузове.

– Пора бы, – сказал Черпаков.

Атмосфера вокруг дома с почиканными «фашистскими прихвостнями» оставалась спокойной, солнышко только чуть-чуть обозначило свое намерение закатиться.

– Позови его, чего он там, – пренебрежительно сказал Черпаков.

– Сам позови.

Сержант застал лейтенанта в спальне, тот стоял на четвереньках, приставив ухо к деревянной панели в стене.

– Там кто-то есть.

Черпаков достал из кармана и открыл нож. Проверить надо, в этом лейтенант прав; даже если толькомышь, надо ее придушить, свидетелей не должно остаться никаких. Лейтенант тоже был с ножом. Одно лезвие сверху, второе снизу, и одним напряжением навалились! Так это подвижная панель! Изнутри послышался тонкий-тонкий писк.

Еще рывок. Панель отъехала.

В углублении, набитом скомканным бельем, в позе младенца в чреве матери запечатлелась девушка в белом платье. Понять, как она умудрилась там поместиться, даже думать не надо: страх уменьшает предметы. Секунды три она, лишенная опоры в виде внешней панели, как бы висела в оправе из тряпок, потом вдруг выпала. Лейтенант с сержантом поднялись – сержант по-мужски кряхтя, а лейтенант беззвучно. Девушка некоторое время лежала на полу в той позе, в которой выпала, надеясь, что ли, что ее по-прежнему не видно. Потом осторожно выпрямилась, поджимая под себя ноги и спиной прижимаясь к тряпкам.

– Дочка, – сказал за спинами начальников Базилюк.

– Прислуга, – сказал Черпаков и подвигал нижней челюстью.

Пауза продолжалась несколько секунд. Потом сержант протянул поблескивающий от жира палец к ее подбородку. Коснулся, словно включил польское радио.

– Пше праше, панове!.. – И дальше – совершенно затерянная в частокоте густо накрошенного «ш» жалоба.

– Ха, – сказал Базилюк, явно прикидывая, какое продолжение сулит эта находка и есть ли у них время для полноценного разбирательства с таким подарком.

Черпаков присел, переместил все тот же жирный палец девушке под подбородок и поводел там, наслаждаясь неожиданной беззащитной гладкостью.

– Пше праше, пше праше, панове вшистка, панове пше праше...

– Не надо меня бояться, – отвратительно запел Черпаков, как-то приободряясь всем молодецким организмом внутри обмундирования. – Когда же мы обижали таких панночек, а?

И в этот момент раздался выстрел. И Черпаков, и Базилюк отшатнулись, почему-то одинаково сморщившись. Пуля попала все еще шипящей девушке в лоб. Глаза метнулись вверх, как будто она желала рассмотреть, что там приключилось. И сразу всеми членами осела, превратившись в ненужное имущество.

– Вы погрузились? Тогда надо убираться. Мы нашумели, – сказал лейтенант.

Черпаков медленно поднялся, в горле у него один за другим собирались длинные хрипы, словно собирался очень сильно отхаркнуться.

Лейтенант сунул пистолет в кобуру одним точным движением и вышел вон. Все выглядело так, словно так и было задумано.

На обратную дорожку Черпаков сел за руль. Базилюк не перечил, хотя в документах именно он значился водителем. Было понятно, что Сереже (ефрейтор мысленно называл сержанта по имени, как будто перед ним заискивал) надо каким-нибудь действием смягчить зверскую мужскую досаду. Лейтенант снова занял свое лежачее место в кузове.

– Ты поглядывай за ним, Базило.

Ефрейтор не понял и вопросительно прищурился.

– Может, он станет колечки глотать.

А, то есть Сережа думает, что новенький лейтенант может оказаться не только... но еще и крысой. Ерунда, конечно.

Базилюк был уверен, что сержант будет всю дорогу изливать на него свое в общем-то законное негодование за подлую выходку дикого литеры, а он сбоку тихонько попытается его смирить с тем, что произошло. Да, по привычному порядку таких выходов, девка была законной добычей сержанта Черпакова, ибо всем было известно, что он просто болезненный охотник до всякого хоть сколько-нибудь женского пола. Если это не в ущерб общему делу и имеется время. Данный случай был вполне подходящим. И с чего это лейтенант поломал намечавшееся удовольствие сержанту! Сам не хочешь, так другим не мешай.

Черпаков неожиданно помалкивал, негодование его проявлялось в нервной манере вождения. Навстречу попадались теперь все очень неудобные объекты. Рассеянно ползущие на скорости телег полупортки, и телеги попадались, и пару раз пешкодралом кто-то гнал целые взводы с полной выкладкой, видимо на пополнение, с торчащими в посеревшее небо противотанковыми ружьями. Скорости не разовьешь, наоборот, надо вилять баранкой.

Уже возле самого поворота к городу Базилюк не выдержал:

– Твоя была, твоя, только уж вон как отъехали, чего теперь. Давай радоваться, что все тихо сровнялось. Куда это ты?!

С явным нарушением плана, самим товарищем подполковником утвержденного, Черпаков гнал машину не к главному дивизионному складу, где два верных кладовщика отлично знают, куда засунуть и как распределить все добытое среди несметных закровов действующей дивизии. Черпаков рулил в город, там у них, как у отдельной бригады, имелся свой маленький схрончик между госпитальной котельной и угольным складом.

– Мы на шумели, – усмехнулся Черпаков.

Базилюк поехал на неровном сиденье. Да, при желании можно было считать, что все пошло не по плану, и виновник – лейтенант. Он же стрелял. В таких случаях было велено уводить возможную погоню куда подальше. Даже если погони нет, все равно уводить, так решил Сережа. А лейтенант наверху закрылся поднятым воротником и, кажись, похрапывает. Сделал дурное дело и отдыхает. Изменение маршрута его вроде как не смутило. Базилюк нервничал, все шло совсем непонятно.

– Заодно и выпьем.

Про это Базилюк тоже уже догадался. За угольным складом впритык к кухне гарнизонной столовой в полуподвале двухэтажного здания, где теперь в верхнем этаже располагалось офицерское общежитие летчиков, давно уже завелось одно неизбежное заведение. Судя по всему, в прежние годы, когда на аэродроме базировались полки бомбардировочной авиации группы армий «Север», там было казино-варьете с большим выбором трофейных напитков и девиц местного происхождения. «Намоленное» место. Наши профиль заведения менять не стали. Высокое начальство всегда чуть сквозь пальцы смотрело на выходки и капризы летчицкой братии. Привычно бурчало, называя все это «шоколадом», но решительно не пресекало, тем более что официально заведение первую половину дня трудилось как офицерская столовая. Вечером на полках за стойкой пана Желудка (ударение на последнем слоге) появлялись бутылки с яркими этикетками, а в углу мостились аккордеон, пианино и скрипочка. Бывали вечерами тут не только люди в форме, но и местные господа как бы с дочерьми или супругами. Летчики знали, как легко эти гражданочки отбиваются у приведших их господ. И это всех устраивало.

Очень осторожно, чтобы никто не обратил внимания, выгрузили колодезный сундук и нырнули с ним в тупичок темный. Вот она, железная дверь. И замочище на ней. Отперли,

вдвинули добычу, немного присыпали угольком. Закрыли. Сержант ключ от замка сунул себе в карман – это уже было прямым вызовом.

Базилук напрягся – сейчас что-то произойдет.

Уже стемнело. Пахло снегом, углем и горелой капустой: столовка была неподалеку. Место глухое, дверь тайника выходила в узкий скользкий переулочек, куда уже выглянувшая луна заглянуть была не в состоянии.

– Ну что, отметим? – Черпаков был уверен, что лейтенант откажется. Он никогда «не опускался» до того, чтобы выпивать с бригадой. Попрощается – и нет его до следующего выезда.

Базилук тоже был в этом уверен, и еще он знал: вопрос задается просто для разгона, Черпаку нужно завестись. Лейтенант откажется и получит перо в бок. Черпаков небось держит большой палец на кнопке своего ножа. А лейтенант, дурачок, и встал-то так удобно, как будто приглашение выписал – втыкай! А вина вся будет повешена на диверсантов. Василькову он, кажется, тоже не сильно глянулся, будет благодарен, что избавлен от подозрительного кадра.

– Пошли, – вдруг сказал, не оборачиваясь, лейтенант.

Согласился! Почувствовал что-то?

Черпаков, уже наклонившийся было вперед, закашлялся, выплевывая куски рухнувшего плана.

Лейтенант прошел мимо него, и вот они уже под фонарем, и место открытое.

В заведении народу еще почти не было, несмотря на уже начавшийся вечер. Пан кельнер в потертом, но все равно безупречном пиджаке и усыпанной искрами бабочке; она так нравилась двум французам-капитанам, что были прикомандированы к здешнему полку, – они каждый раз делали бабочке комплименты, будто она и в самом деле маленькая дама.

В углу одиноко, но старательно трудится ловкая скрипка в руках большого одноногого пана, он вкладывался в каждое движение так, словно извлекал звуки не только смычком, но и своими пшенично свисающими усищами. Два зрелых офицера с расстегнутыми воротниками, в свежайших подворотничках, пахли, надо думать, щедрым шипром и шептали в одновременном режиме что-то полувосторженное-полупохабное девушке в клетчатом платье, нависая с двух сторон. Она была трезва и делала вид, что чуть озабочена их активностью. На самом деле за ее мягким латышским акцентом скрывался настрой использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.

Остальные столы как раз накрывались в общем-то белыми скатертями. Публика сейчас повалит, поигрывая денежными бумажками, – куда еще тратить заработанное в боевом небе! Хорошей жизни хотелось многим, и многие имели на нее право. Большая часть столов находилась справа от стойки пана Желудка, середина оставалась для танцевания. У входа, рядом с гардеробом самообслуживания, стояли два стола, сегодня сдвинутые в один. За него, не советуясь с подельниками, уселся лейтенант, не снимая шинели, хотя внутри было очень тепло.

Лейтенант откинулся спиной к стене и даже крючка на воротнике не расцепил. Черпаков шинель снял, сел так же, как лейтенант, и руки тоже держал под столом. Базилук, весь уже извевшийся от сильных переживаний, поместился в торце и, в отличие от остальных, навалился грудью на стол.

Пан Желудок бросил в сторону этой компании профессиональный взгляд, а второй – одной из официанток. Ни сержантам, ни тем более ефрейторам в офицерской столовой делать было нечего, но именно эти военные были отлично известны пану кельнеру, и возможности их карманов тоже. Никого из командиров с большими звездами не ожидалось нынче – возможно, обойдется без выговора за неразборчивость. Впрочем, и помимо пана Желудка были осведомленные люди в числе здешних завсегдатаев, знавшие, что эти трое – из-под крыла самого подполковника Василькова.

Базилюк, не выдержав напряжения, начал раскачиваться вперед-назад. Должно же что-то начаться. Тот уличный шанс Черпаков, по мнению ефрейтора, упустил зря: место было глухое, момент подходящий. Как теперь все повернется на людях, и, как бы ни повернулось, ефрейтору впереди виделись только неизбежные неприятности. Лейтенант сидел с отсутствующим видом. Это злило не только Черпакова, но и ефрейтора. Все же очень неудобный человек. Как только он оказался в их деле? Говорят, что-то задолжал подполковнику, тот ему помогал после штрафбата, деваться лейтенанту было некуда, интендант отхлопотал его к себе в ведомство. Теперь наверняка и сам не рад.

Лейтенант вдруг, не глядя ни на одного из своих предполагаемых собутыльников, сказал:

– Ты бы ее все равно потом убил.

– Это была моя баба, – осклабился Черпаков.

К ним, улыбаясь, приближалась официантка, кажется Марыся. Юмор положения заключался в том, что одно время Черпаков с Марысей... впрочем, какой там юмор.

Лейтенант выдвинулся из-за стола.

– Ты куда? – встал и Черпаков.

Марыся остановилась, сбитая с толку, прикрываясь подносом. Базилюк быстро закивал ей – неси, мол, неси сама знаешь что.

– Руки помыть, – усмехнулся лейтенант и пошел в сторону стойки пана Желудка.

Черпаков сел. Марыся ему улыбнулась, а когда поймала его взгляд, пожалела об этом.

– Иди, иди, – зашептал Базилюк, отмахиваясь от нее своими огромными, грязными пальцами.

Удивленно-обиженно, но безропотно девушка отошла от стола.

Базилюк проследил за лейтенантом, он действительно, обогнув позицию пана Желудка, зашел за ширму в коридор, по которому можно было попасть только в одно место – нужник, где имелось несколько широченных, как для мамонтов, сортирных колец и кран, лупивший в чугунную раковину громогласной ледяной струей.

– Интеллигенция, – скривил рот Базилюк и покосился на сержанта, понимает ли тот, что он, Базилюк, всецело на его стороне. Покосился и обмер: как раз в этот самый момент сержант сделал под столом характернейшее военное движение, взвел курок. Самого пистолета не было видно, но Базилюку показалось, что теперь все население ресторации оповещено о том, что готовится...

– Пришью гада! – Станным образом злоба Черпакова нарастала от каждого движения лейтенанта, и каждого слова, и с каждой минутой.

– Послухай, ты бы сам ее потом зарезал, – попытался сбить Черпакова с этого настроения Базилюк, хотя понимал, что говорил не то и уж тем более не стоит повторять версию лейтенанта.

– Это была моя баба, – пригвоздил его взглядом сержант.

«Господи, помилуй, хотя и знаю, что не помилуешь, есть за что не помиловать...» – не успел додумать ефрейтор Базилюк свою ненужную в данный момент мысль, как хлопнула входная дверь и внутрь влетели два солдата с ППШ, вертя головами и с криком: «Всем лежать!»

Глава вторая

Осень 1908 года. Тройной хутор у местечка Дворец, что в Гродненской губернии, неподалеку от Волковыска. Два студента в гостях у настоятеля местной церкви.

– Хотите знать, куда вы попали?

Столичные гости смотрели на отца Иону с настороженностью. Выпускник инженерной академии Арсений Скиндер и третьекурсник юридического факультета Петр Ивашов прибыли

для поселения под надзор полиции в деревню Порхневичи, но холодный октябрьский дождь заставил их искать убежища и ночлега, не доезжая до места назначения. Их возчик, неразговорчивый мужик Микита, нанятый вместе с телегой еще в Кореличах, заявил, что конь захромал. Новосельские были людьми вполне городскими, но даже им было очевидно, что коняга ничего не хромает. Но спорить с кем-либо они событиями последних недель были отучены, к тому же возникала возможность свернуть к какому-нибудь жилью, а не безысходно сносить отвратительную погоду, прижавшись друг к другу под мокрой дерюгой, хотя никакой особенной дружбы меж ними не было и прежде, и во время пути не образовалось.

Молодой священник обрадовался городским собеседникам, его ни в малейшей степени не смущал их нынешний статус. Свежие люди из мест, где он сам еще пару лет назад... в общем, крупной, молчаливой бабой был накрыт стол, в печку подброшены дровишки, и, хотя она и подпускала чуть-чуть дыма в помещение, создалась атмосфера, в которой можно было согреться и расслабиться.

Батюшка прежде всего обращал на себя внимание отъявленной разговорчивостью, охотно тек мыслью в любом направлении, только подтолкни. Могло показаться, что он отчасти пьяноват, что ли, и ряса на нем не так чтобы кристально чиста, только до этого неожиданным гостям не было никакого дела. Тем более что отец Иона между другими быстро предлагаемыми сведениями сообщил: ныне-де он без матушки, отчего и весь порядок его быта несколько скобочен в холостяцкую сторону.

Молитву он прочитал серьезно и даже с чувством, но, сев на стул, как бы рассупонился.

– Вы, еще не вовсе подсохшие мои, теперь оказались волею предержавших сил в мешке. – Иона захихикал, отчего его длинная, но редкая бородка затряслась, придавая хозяину непреднамеренное с его стороны сходство с козлом. Было батюшке вряд ли больше двадцати пяти лет, и ростом он был выше рослого инженера Скиндера на полвершка, но ребячливая манера общения заставляла видеть в нем чуть ли не расшалившегося подростка.

– И не просто в мешке, – в мешке, который, отцы мои, еще и в навозе.

Ивашов и Скиндер переглянулись – не послышалось ли. Они ждали дерзостей и неаккуратности в быту от мужицкого элемента, но чтобы духовное лицо, да за обеденным столом...

– Не поняли? Срисую вам.

Иона стал шустро двигать предметы, расположенные на столе, освобождая середку. Оглянулся в поисках чего-то – тело было гибким и ловким в движениях.

– Вот пояс. – Пояс лег вытянутой петлей, оставив один выход из образованного «мешка». – Мы вот тут. – Отец Иона расставил несколько рюмок внутри петли. – Це Тройной, моя церква, а вот Гуриновичи, столица нашего темного царства.

Иона вздернулся и чуть в сторонке от рюмок поместил солонку с грязноватой серебряной крышкой.

– Это Дворец. Графское имение. Теперь вот правильно. В Гуриновичах вся цивилизация; власть – становой кушает чай в трактире... Тут и школа начальная, но больше без учителя... Да, вы прибыли с этой стороны – Сынковичи, Новосады, Дворец. В Сынковичах пустыри широкие, там на краю Далибукской Пуци аэроплан садился. Года два назад. Дальше тракт, Кореличи, чугушка.

Хозяин поднял ребристую на ножке рюмку с мутноватой жидкостью. Поймав тоскливый взгляд Ивашова, упершийся в рюмку, а более в цвет напитка в ней, сразу объяснил:

– Не «нюи». Здешнего варенья благодать, после расскажу.

Выпили, отчасти с удовольствием, отчасти насильственно над организмом, выпуская после из угла рта сивушную струю.

– Я почему вешаю? Вы хоть оттуда и прибыли, с железки, по такой погоде навряд что-то разглядели. Если судить по моей карте, вам вот в эту сторону. В него, в мешок. На самое дно.

Он бросил внутрь «мешка» несколько хлебных корок и объявил:

– Порхневичи. Во всех смыслах Порхневичи.

Гости не стали уточнять, сколько их, подразумевающихся смыслов. Оказалось – два, и деревня носила то название, и главная в ней семья. Так что нельзя было сказать, что от чего происходит.

– Народец там... – Батюшка задумался и горько выдохнул: – Местный. Сам-то Ромуальд Северинович, как бы почти что барин ихний, человек ужасной неделикатности и силы. Ходит с волком на плечах, а как глянет – цветка вянет. Цветка – цветок по-здешнему.

Мягкими, но настойчивыми жестами гости принуждены были выпить еще: хозяин был внезапно взят каким-то сильным воспоминанием, и понадобилось ему срочно смыть его. После непосредственно глотания самогона наступила длительная пауза, гости успели несколько раз переглянуться. Обоим было по-прежнему весьма неловко, не хотелось верить, что и духовное лицо поглощается настолько без остатка мраком захолустной жизни. То, против чего они в общем-то протестовали в своих аудиторных митингах, демонстрировало им свою неодолимую власть.

Дождь припустил гуще.

Отец Иона открыл один глаз:

– Вот вы о народе распомыслили. А что он, народ ваш! И наш так же ж.

Неясность вопроса очень затрудняла ответ, да еще и при полном нежелании молодых разговаривать.

Батюшка медленно отвалился на спинку стула, сколоченного грубой рукой деревенского плотника.

– Белорусский мужик таков, что подчиняется любому, кого числит хоть маленько выше себя, никогда не перечит, но очень часто замечаешь, что в конце концов все сделалось так, как надо ему, а не тому, кто командует. Безропотность и уклончивость – вот его два признака. Хочашь, не хочашь, але мусишь, говорит он...

Опять явилась массивная подавальщица. «Порхневичи» были сметены краем ее сердитого фартука, в центр стола встала большая черная сковорода с жареным салом, рядом чугунок с вареной бульбой, миска с жареными маслятами в сметане. Скиндер с Ивашовым только было наладились прослушать краткую лекцию про особенности белорусского характера, – а именно белорусами была, судя по всему, населена эта мокрая бесконечная ночь за окном, – как батюшка прервал сам себя с таким видом, что рано еще выносить вердикты, кое-какие нюансы недодуманы.

Ивашов осторожно протянул белый от удивления палец в сторону вставшего рядом с маслятами блюда.

– Что это? – спросил Скиндер, и получилось, что они выступили с Ивашовым в паре.

– Из немцев? – вопросительно улыбнулся отец Иона, расчесывая длинными пальцами пегие волосы бороды. Он в самом начале знакомства глянул в их бумаги, выступив тоже как вид здешней власти, и теперь показывал, что чернила в его сознании не смываются даже самогоном. – А это ковбук. Местная забава зажиточных мужиков. Как те же Порхневичи, что правят в Порхневичах. Так вот, берут желудок, бараний, а может, и свиначий, выскребают, а туда всякого резаного мяса-сала с перцем и другой специей, плотно-плотно, завязывают и на чердак, на веревке на стропилу, чтобы на ветерке вялилось, чердачные окошки открывают. Что, мочой отдаст? Это, господин студент, ничего, мы вот сейчас нальем...

Тетка внесла штофную емкость с гербовым орлом на груди, батюшка принял емкость и объявил:

– Для гостей – хлебный.

Надо было понимать, что он вдруг решил повысить статус застолья. Встал, с переменявшимся, резко посерьезневшим лицом, снова прочитал молитву и перекрестил трапезу. Студенты покорно участвовали в повторном обряде.

Сел и сделался как будто более серьезен – мол, пора и честь знать. Быстрым деловым тоном сообщил студентам полезные сведения:

– Кухни здесь не ищите, нет. Грубо все, белорус готовит так, как будто ему на себя наплевать. Все равно съестся. Сейчас драники сделают. Всё на сале. Ну, это если есть сало. – Отец Иона хмыкнул. – А про нравы вот еще что скажу. Мне, вестимо, не по сану, однако по возрасту – девки, допустим...

Инженер заинтересованно замер, юрист все боролся со страшным действием самогона, кипевшего в пищеводе и вышибавшего слезу.

– Здешняя девка такая: берешь за руку и веди, куда тебе надо, прости Господи. Но, главное, руку не отпускай, почешешься, обратно – хватать, а там воздух. Улизнуть – их главная манера. Но это не про польские семейства, там гонор, хотя может и штанов не быть. Арендуют у того же магната, что и обычный мужик, но грудь выпячивают. У них своя парафия, что они говорят на исповеди, мне неведомо, но поведение весьма иное. Ксендз Бартошевич меня за человека не считает, весь наглаженный и в одеколоне... Только я знаю методы опускать грешников на грешную землю...

Не дав себе уплыть в гавань личных волнений, отец Иона вернулся к ориентализму:

– Вот я вам такой характерный пример, не мое наблюдение, однако верное. Горит гумно. Представили? Горит гумно! У такого вот Сидоровича или Лукашевича, а хозяин не бегаёт с ведром к колодцу, не вытаскивает мешки, а там весь запас его польхает, стоит, извиняюсь, соплю жуёт. Спрашивают у него, что ж ты, мол, так, есть чего теперь будешь? А он отвечает: мыши зато лякнули. Ну, лопнули. Он сквозь шум пожара услышал мышинный писк и этим впечатлился и обрадован. Это для него важнее. Варвар бывает особенно сражен деталью. Как американский дикарь за стеклышки продаст вам остров.

Выпили еще по стопке. И вот тут юрист Ивашов совсем поплыл, самогон из штофа был, видимо, тройной перегонки и нарушал менделеевские правила самым свирепым образом. Инженер попробовал вернуть разговор на женскую тему. Отец Иона охотно подхватил:

– А в семье всем баба вертит, да. Как это получается, лень додумываться, но так. Любви, как пишут нынешние господа сочинители на Неве, тут не встречается, не замечал чувств утонченных, за ненадобностью в хозяйстве. Это не в упрек, лютый труд и серая погода. То зальет, то заметет. Забитость, даже язык как бы и не язык, как бы просто уклончивость от великорусского в какую-то свою дебрь.

– Забитость? – кивнул юрист и икнул, самогон все еще не был побежден им полностью. – Покорность.

Отец Иона бросил в рот еще несколько колечек крупно нарезанной цыбули и вдруг выразительно и с каким-то разочарованием поднял брови:

– Да, он забит, мужик, забит, даже сам про себя если и скажет, то словно чтоб себя же и устыдить, над собой уничижительный вердикт произвести. Но и резонер, только не в развитие конкретной деловой мысли, а в определение природного порядка. Как будто шел человек, увидел дерево – и как будто в первый раз увидел. У Чехова есть персонаж, говорит все время очевидное: лошади кушают овес и сено, после зимы всегда бывает весна...

– «Учитель словесности»! – выдохнул вместе с сивухой юрист.

Скиндер, Чехова не читавший и вообще к литературе равнодушный, покосился на товарища почему-то неприязненно.

Батюшка продолжал свою мысль:

– ...а я откажусь от чеховского примера. Там просто туповатый практик, а белорус, он, как я уж замечал, философ. Он может сказать вам: воздух, это вам не вода, ель – это вам не ветла. И ему не важно, чем так ель отличается от другого дерева, сам факт различия гипнотизирует его ум.

Выпили еще. И тут отец Иона сообщил свою окончательную мысль:

- А вообще, говоря откровенно, его вообще нет.
- Кого? – поинтересовался совершенно освоившийся инженер.
- Белоруса. Имеется в наличии один сплошной казус.

Ивашов только скромно хлюпнул опущенным носом.

Батюшка медленно тыкал хлебной коркой в солонку.

– Рассудите хотя бы лишь название. Зовут здешнего мужика бело-рус, а земля – все, что на восток от Гродна, и эта самая Далибукская Пуца, в середине которой мы под дождем пьем народную водку, у ученых мужей называется Черная Русь. Это как? Кривичи-дреговичи жили на Черной Руси и сделались вдруг бело-русы?..

Скиндер, больше продвинутый по технической части и поднятой темой ему заинтересоваться было невмочь, стал ждать момента, когда мелькнет в медлительной, но неуклонной речи батюшки осколок более лакомой темы.

– Я сам все думаю-задумываюсь: что это за земля такая, чья она по правде, кого на свет произвела, кем подлинно содержится? Хотя в хозяева многие метили. Вы хотя бы приглядитесь к нашему Дворцу.

Скиндер послушно повертел головой, словно названное батюшкой должно было по одному его слову нарисоваться в воздухе.

– Это такое имение, я же говорил, – снизошел отец Иона, вздыхая в сторону немецкого гостя. Юрист уже полностью спал, но при этом делал вид, что пребывает в полном порядке. – Когда-то, а именно не когда-то, а до последнего польского бунта, проживали там паны Суханеки. Православные, навроде Огинских, но паны и поляки.

Выражение лица инженера менялось, он старался понять сообщаемое, начал почему-то считать это важным для себя. Отец Иона не глядел в его сторону, а все вел спорадическую лекцию, абсолютно уверенный в ее пользе для тех, кто еще в состоянии слушать.

– Но Суханеки примкнули. По глупости, надо думать, да и по гордости своей. Задумали здесь, на «креслах восточных», обрести независимую родину для своего польского общества. Ну и является Муравьев.

– Вешатель? – вдруг как будто усилием воли вынырнув из тины опьянения, прохрипел Ивашов. И снова ушел на сонную глубину.

– Ка-какое... – поморщился рассказчик. – Ну, было чуть. Мужички местные косы к оглоблям привязали и в строй панской армии. А как разобрались, что «вешатель» не такой уж и вешатель, чтобы очень, пошли по домам. Панов за бунт только и наказали. И по сенатской люстрации, – отец Иона с неожиданно официальной точностью выговорил последние слова, – погнали панов Суханеков с кресов туда, где она и есть, их Польша. И подполковнику, отличившемуся, отдали Дворец во владение. Он его тут же проиграл в карты, а потом пропил, и что мы имеем....

Иона посмотрел на гостей. Сон одолел и инженера тоже, и теперь священник одиноко возвышался над лежащими ничком телами с простертой рукой, в пальцах которой ребристая рюмка играла мутными бликами колеблемой водки, как будто это какая-то капля терпеливого характера белоруса.

– Завтра, – сказал хозяин, – завтра поедем во Дворец.

Глава третья

Так, осенью 1908-го в Порхневичах появилась интересная парочка: два сосланных в лесную болотистую глушь петербургских студента. За какие такие дела – сельчане не разбирались, смотрели на господ в потертых форменных тужурках чуть иронически, но и с опаской. Для селянина человек в мундире, даже под знаком недоверия к нему верховной власти, все равно представитель господского сословия. Поселились они в большой хате у моста. Когда-то там

был шинок и дом шинкаря. Не процветающий шинок – клиентура ввиду тупикового состояния места была небогатой, – а после и вообще захиревший. Дом был разделен на две части, в задней, что имела особое крыльцо и две большие довольно комнаты, и была «гостиница».

Вёска Порхневичи никакой постоянной стоянкой имперской власти оснащена не была, лежала, в соответствии со словами гостеприимного батюшки Ионы, в стороне от всех ниток всяческих путей, как бы в выемке огромного, охватывающего, густого лесного небытия; даже от соседних Гуриновичей ее отделяла река с непреднамеренно загадочным названием – Чара. Она осторожно выбиралась из-под сени Далибукской Пуци, проскальзывала под настилом неширокого моста и опять уходила в ноги деревьям, там, уже по пути, в глубине оснащаясь мельницами, принадлежащими пану Порхневичу, и полуразвалившимся пристанями, неизвестно кому принадлежащими.

Жизнь стояла там стабильная, не размываемая ни в малой степени внешними влияниями и модами. Даже слухи сюда доходили или уже опровергнутые жизнью, или состоявшиеся как факт. Хорошее место для ссылки. Сбившимся с пути молодым умникам полезно окунуться на время в настоей первобытной жизни.

В Порхневичах, как и во многих белорусских деревнях, была такая особенность: видимо, оттого, что располагались они рядом с подавляюще мощным лесным массивом, на их непосредственной территории было крайне мало деревьев. Редкие липы на улицах, редкие яблони на картофельных делянках, что тянулись опять-таки в сторону леса; во дворах кусты поречки по внутренней части заборов. Или вот сирень по неизвестно чьему капризу. Еще где-нибудь – такой же случайный жасмин под окошком. Можно подумать, что люди, выпроставшись из-под воли вековечного леса, хотят немного пожить на открытой местности.

Дверь комнаты, в которой стояли на пыльном полу две железные кровати и много перепачканных дорожной грязью саквояжей, была открыта в бесшумный дождь. Скиндер и Ивашов сидели рядом и, несмотря на полное совпадение их житейских ситуаций, выглядели очень разнно. Юрист ужимался весь внутрь, затягиваясь последней петербургской папиросой, инженер уже мысленно что-то конструировал.

Ни тот ни другой не заметили, как и откуда у сирени, вяло сносившей морошение невидимых капель, появился человек. Он длинно снял картуз и улыбнулся, кажется, желая продемонстрировать приветливость, но вышло почти страшновато. Большой рот распахнулся, показывая два ряда больших и очень редко торчащих зубов. Щеки и нос в сетке мелких красноватых капилляров. Главное – рост: таких больших людей не приходилось им видеть и в больших городах. На плечах – пришитая к пиджаку волчья шкура.

Это был Ромуальд Северинович Порхневич. Не чиновный, но природный правитель здешних мест. Он проверил документы и, кажется, вычитал из них что-то новое для себя.

И без специальных его объяснений наступило понимание: лучше ему не перечить, и тогда жизнь будет терпимой.

Шинок стоял запертый уже не первый год. Ромуальд отодрал доски с оконных проемов, велел растопить печь и приставил к кухне девку для обедов. Сказал, что сам даст дров на это дело и будет даже платить три рубля в месяц той кухарке. Взялась Машка Жабковская, рослая, великовозрастная, вечно вздыхающая («Аб чем вздыхаешь, Маша?» – «Аб жизни!..») девка из дома, что через один от шинка. Три рубля – деньги.

А будешь стирать, так и еще два рубля.

Машка вздохнула и согласилась стирать.

Теперь – чем вам, господа, заняться?

В полицейских бумагах были прописаны запреты для господ студентов на разного рода занятия. Но запрещалось им по большей части такое, чего в здешних местах и так не имелось в заводе.

Ромуальд Северинович легко нашел для обоих полезное применение. Особенно быстро – для инженера. Уже на третий день повез его на своей бричке на мельницу в лесной излучине на Чаре, что арендовал у него молодой мужик из Сынковичей, по фамилии Кивляк. Там надо было наладить колесо, которое с прошлого месяца после наехавшей на него коряги стало сбивать и вообще останавливаться. Попытки поправить его обычным мужицким способом результата не давали.

Скиндер осмотрел уже довольно старое устройство и предложил выбросить его и переделать все по-новому, он-де видел на выставке в самом Брюсселе. Дорого? А это ничего, скоро окупится, и мельница станет знаменита на всю округу. Кивляк не очень хотел. Он стремился в собственники и почти уж выкупил мельницу у Ромуальда Севериновича, а тут намечалось сильное продление кабалы. Не хочешь? Тогда пошел вон! Так поставил вопрос Ромуальд, выразительно поправляя волчью шкуру на плечах. Нрав его был известен, спорить долго было опасно. Тем более он обещал помочь с деньгами, пришлось согласиться. В конце концов бельгийское устройство выписали и установили, и оно заработало, только арендатор конечно же попал в новый, совершенно неоплатный долг своему благодетелю. Кивляк скрытно ярился, но что было делать, у мельников всегда почему-то огромные семьи. Как-то надо кормить.

А инженеру-то что, по своей профессиональной части он сработал наилучшим образом. И его стали приглашать то туда, то сюда. Ромуальд Северинович велел только, чтобы все эти отлучки происходили с его «высочайшего» ведома. Он никогда не запрещал даже дальние экспедиции, но желал, чтобы все они проходили как им лично позволенные.

Пан Гигевич из Новосад попросил наладить маслобойку. Съездил Скиндер, наладил. А заодно разобрался с водонапорной башней у пана Разгонского, что хозяйничал совсем уж далече, за аэродромом на краю Пущи, почти у костела.

Были и мелочи – вроде фейерверков по праздникам в городском саду в Волковыске.

Скиндер больше времени проводил на работах, чем в Порхневичах.

Ромуальд Северинович так поставил дело, что с просьбами о профессиональном применении ссыльного инженера обращались обязательно к нему, и он конечно же не отказывал разным уважаемым соседям. Выглядело все так, будто молодой немец отдается в инженерную аренду от пана Ромуальда. Прямые вопросы в провинции не принято задавать – тонкости обхождения среди местной «шляхты» соблюдались сугубо. Предлагалось домысливать и злословить в сторонке. Становой пристав, пару раз наезжавший в порядке «наблюдения за соблюдением правил», а на самом деле по тихой жалобе некоторых соседей, пил чай с Ромуальдом Севериновичем, уложив в портмоне банкноту, и тем самым как бы узаконив сложившийся порядок вещей.

Скиндер обо всей этой паутине тончайших местных взаимоотношений ничего не знал, поскольку вел образ жизни, который ему, в общем, нравился и приносил определенный доход.

Петя юрист отбивал ссылку стационарно; применить его с пользой оказалось труднее. В полицейском документе прямо прописывался запрет воздействия на народные умы со стороны ссыльного. А Ромуальд Северинович, после того как в Гуриновичах скончался пан Пшегорода и закрылась школа – указанный пан был единственным учителем, – очень был занят мыслью о том, что «его дети» растут неуками.

К отцу Ионе обращаться за помощью по этой части невозможно было по двум причинам. Первое – не одобрит ксендз Бартошевич, а от него в очень большой степени зависело, будет ли пан Порхневич полноценно принят местным «обществом» в число своих. Второе было связано с первым. Иона сам бы ни за что не согласился пойти навстречу Ромуальду Севериновичу после той истории с подружкой дочери ксендза Бартошевича и решительным вмешательством в это дело пана Порхневича.

Сосланный юрист показался очень подходящей фигурой на роль Пшегороды. Ромуальд решил, что «его дети» будут учиться. Он делил детей на «своих» и «чужих» по особому прин-

ципу. Старшего собственного сына Доната, чуть замедленного в развитии, он и не собирался мучить науками, а, скажем, вечно сопливого, но очень сообразительного Ваньку Михальчика велел его родителям обязательно отдать юристу в ученики и даже выдал мешок ячменя как бы в компенсацию за отсутствие хлопца на домашних работах.

Ивашов, когда ему предложили, пожал плечами: в общем, что же, дело было ему знакомое, он, как многие студенты, иногда подрабатывал уроками, но нерегулярно, а лишь в виде фронды против вполне состоятельной родни, от которой зависел финансово. То есть не кормился уроками, а развлекался. Но объяснять эти столичные детали громадному белорусскому зубру с волчьей шубой на заливке – какой смысл?

Ладно.

Собрался вокруг «учителя» небольшой класс. Кроме сына Витольда, ради которого Ромуальд, собственно, и затевал всю эту кампанию, начал учиться и младший братишка Тарас, суетливый и непоседливый хлопец. На самом деле его звали Ольгерд, но это имя перебила кличка, мальчик очень любил при всяком удобном и неудобном случае вставить в разговор польское словечко «терас», что означает «сейчас». Оно и трансформировалось в новое имя – Тарас. Все привыкли. И даже отец его так звал. Имя он давал своим сыновьям в соответствии с давней традицией – чтоб было у любого Порхневича оно звучное и не мужицкое, но с годами ясно стало, что звучное имя Ольгерд никак парню не идет: простоват, вспылчив, упрям. И Ромуальд достойного наследника рассчитывал найти во втором сыне – Витольде.

Помимо уже упоминавшегося Ваньки Михальчика, был еще Петро Жабковский, и его тоже больше знали по кличке – Бажа. Она родилась от уличной дразнилки – Жаба. Если тараторить подряд – жабажабажаба, то и на выходе получается та самая Бажа. Не то чтобы он очень тяготел к наукам, просто жил поблизости. К тому же старшая сестра Машка была та самая, что обстирывала и кормила ссыльных, так что будет какой-нибудь присмотр и кусок для обоих Жабковских.

Еще два племянника Ромуальда вошли в число учеников, но и они учились без охоты, и родители их все время выдергивали для каких-нибудь дел по хозяйству, так что про них осталось неизвестным – продвинулись они в чтении или совсем нет.

Программа обучения была составлена самим Ромуальдом Севериновичем. Сначала совсем аскетический вариант: только письмо и счет. Исключительно практические навыки. Бумагу и чернила выписали из Новогрудка. На первых порах обучение шло без каких бы то ни было учебников. Деревенский голова страховался на всякий случай, ему было не вполне понятно, насколько внимательно поглядывает государственный глаз в сторону учительского дома в Порхневичах. И на тот случай, если господин пристав решит проверить, чем заняты ссыльные, хотелось иметь поменьше причин для нареканий. Никаких книг, например, не завозим.

Скоро выяснилось, что власти до этих двух господ дела нет, об образе их жизни она в общем-то в курсе и разъезды инженера Скиндера по разным мелким заказам в пределах двух-трех уездов ее волнуют мало. Значит, и насчет «школы» переживать особо не стоит.

Ромуальд Северинович намекнул, что можно, пожалуй, расширить образовательный фронт. Но чтобы без вольных, беспокоящих наук. Долго обсуждали с господином Ивашовым, что можно было бы прибавить к программе, не выступив ни шагом против правительственных установлений. Сошлись, что география и древняя история позволительны. Был выписан глобус из Вильны – не сочтет же господин исправник, что таким образом ссыльный готовится к побегу из-под надзора. Что касается древней истории, то вообще получилось хорошо – у студента имелись при себе книги про месопотамские времена. Ромуальд Северинович поднимал тяжелые мрамористые обложки и разглядывал бородатые профили древнейших царей и истекающих кровью львов, пробитых целыми пучками точных стрел. Заметив, что глаза Витольда

горят при виде этой рисованной древности, он позволил, пусть. Непонятно для чего это может пригодиться, но пусть!

Детям господин учитель, можно сказать, полюбился, был он человек мягкий, если не сказать, тихий, любитель поговорить, и все больше на отвлеченные темы. Ни о какой требовательности речи и быть не могло, цифры и прописи кое-как пройдены, есть что предъявить отцу. А дальше... Учитель очень тосковал по запретному для него Петербургу, и тоска эта выливалась у него в длинные мечтательные рассказы о великом городе. Дети слушали его внимательно, особенно потому, что понимали: пока он рассказывает, он не заставит считать и выписывать на бумаге.

А когда была хорошая погода, он отправлялся со всем выводком на прогулку. Обычно к речке. Как и многие дарвинисты (а он был дарвинист), природу он не знал и не слишком-то любил. Часто повторял циничную шутку своего отца-сibarита: я люблю природу, но желательнее, чтобы на горизонте все время маячил официант. Однако было исключение в этом леностном снобизме: учитель любил поудить рыбку в непосредственной близости от этой мрачной лесной стены. Витольд, – ему было уже лет девять, зрелый по деревенским меркам возраст, – сооружал снасти на пару с Тарасом, Жаба копал червей, и они вчетвером устраивались на бережку Чары, между двух ивовых кущ, следили, как скользит мимо неторопливая светло-коричневая вода, а в заводях лежит на неподвижной темно-коричневой воде цветочная пыльца и носятся водомерки. Это были лучшие минуты, потому что можно было не отвечать на обычные у детей вопросы: а почему корова дает молоко? А почему солнце заходит вечером? В избе он отгораживался от этой жажды постижения мира прозаическими поэмами о петербургских тайнах, а на берегу Чары запрещал их, прикладывая палец к губам: рыбки разбегутся.

Так в полусне на берегу он провел первые месяцы ссылки, пока отец Иона не затащил их со Скиндером во Дворец. Явился сам в школу и уговорил. Ему было необходимо частично вывести молодых людей из-под влияния «волка». Священник был во вражде с Ромуальдом Севериновичем, и причина вражды была серьезная.

Молодые люди отнекивались. Для чего их, ссыльных, везти в законопослушный дом – компрометация для хозяев.

Наоборот, вы только развлечете Турчаниновых. К ним никто из местных практически и не ездит, потому что сплошь поляки, и они помнят, каким путем данное имение перешло к нынешним владельцам.

Поехали.

Надо сказать, при первом знакомстве разочаровались друг в друге.

Хозяева Дворца были люди просвещенные. Елизавета Андреевна, маленькая, улыбчивая, легкая и точная в движениях, первенствовала в доме, Андрей Иванович, супруг, больше старался остаться на втором плане в районе своей необыкновенной оранжереи, или, как любил говорить, «станции».

Молодые люди разочаровали хозяев. Те рассчитывали увидеть перед собой чуть ли не карбонариев, а тут с одной стороны расплывчатый мечтатель, а с другой – технический делец.

На обратном пути молодые люди обменялись мнениями. Скиндеру были смешны полуманиловские поползновения графа в область естественных наук. Графиня раздражала не меньше своей абстрактной сердечностью, планами устройства больницы для крестьян в одном из флигелей барского дома. «Остаточное народовольство» – таков был вердикт инженера. Юрист же только загадочно улыбался.

Поначалу молодые люди бывали практически регулярно, по средам, во Дворце – благодаря общественной активности отца Ионы. Он был мотором маленького общества, что собиралось на широкой веранде господского дома Турчаниновых за вечно действующим чайным столом. На одном конце его располагался большой начищенный самовар, искажавший физиономии гостей. Казалось, что они все время улыбаются, и истекавший от него тонкий хвойный

дымок порождал колючее сомнение: а так ли беззаботны и прозрачны здешние посиделки? Душой всякой среды была Елизавета Андреевна, наша Дюймовочка, как назвал ее однажды отец Иона, вызвав неудовольствие Андрея Ивановича, ее мужа. Ему, если честно, просто не нравилось словечко «дюйм», он был из просвещенных почвенников и предпочитал, чтобы супруга наводила на мысль о Василисах Прекрасных. Но даже он не мог не признать, что мощный простонародный заряд, заключенный в этом имени, не шел к его воздушной, легонькой женке так же, как не пошла бы мощная русая коса.

Елизавета Андреевна была добродушна без манерничанья, ласкова без слащавости. Облик ее был одновременно очаровательный – худенькая, тоненькая в талии, с голубыми распахнутыми глазами – и исключаящий какой-либо грешный на нее взгляд. На нее можно было любоваться не влюбляясь. Особый эффект рождала игра семейных имен, со стороны могло показаться, что тут мы имеем дело с папенькой и дочкой. Андрей Иванович мало сидел собственно за столом, его полномочным представителем был огромный фланелевый пиджак, увенчавший стул рядом с самоваром, так что могло показаться, что это именно чайный богатырь сбросил его, чтобы отдышаться от внутреннего жара. Андрей Иванович все время был погружен в какое-нибудь дело, всегда неотложное – лоснящаяся спина его жилета мелькала то среди деревьев, то у входа в каретный сарай, то на оранжерейной лесенке. В первый же день он показал Скиндеру и Ивашову свою гордость и, как это водится среди гордых родителей, сопровождал показ жалобами на неказистость драгоценности. Был жаркий, ясный день, студенты расстегнули тужурки своих мундиров, Андрей Иванович попросил их «войти стремительно», приоткрыл дверь и почти впихнул студентов внутрь. И они попали из жары в топку. Жители самых горячих мест Земли нуждались в особенной атмосфере, и они получали ее во Дворце. Впечатление эта оцетинившаяся коллекция производила: жарко, колко – в общем, полное ощущение, что часть мира просто-напросто вывернута тут наизнанку. Кактусы были и маленькие, величиной с картошку, – ими были уставлены столы, – и гигантские: от пола до выгнутой дугой стеклянной крыши, по которой прохаживались три-четыре вороны, отвратительные, как критики на торжественном вернисаже. Андрей Иванович обещал по полтине серебром за каждую дохлую ворону своим дворовым, но, правда, грозил смертной почти казнью тому, кто повредит стеклянный кожух «станции». Условие было невыполнимое, поэтому самоуверенные вороны нагло топали по стеклянному кожуху.

– Бакарня отогнутая, по-другому еще называется «слоновая нога», цереусы... Это, господа, цереусы, опунция мелковолосистая белая, да. Толстянка, прошу заметить, древовидная. Тут обрегония конечно же, а это маммилярии. Гордость – агава королевы Виктории. И еще гордость – эриокактусы Ленингхауса.

Ничего из объяснений хозяина этого игластого чуда запомнить было невозможно, мозг неподготовленного человека кипел от жары, и сведения испарялись, откладываясь причудливыми рисунками на стеклах крыши.

Вслух все гости восхищались устройством и наполнением «станции», когда вышли из-под искусственного неба под перистое. Только отец Иона вдруг повел речь о том, что лишний раз убедился: мир Божий устроен человеку на благо, а то, что человек способен учинить сам, собрав, например, в одном месте дикорастущих иноземных чуд, производит впечатление хоть и сильное, но отдающее чем-то адским.

Молодые люди от отца Ионы настолько ортодоксального заявления не ожидали и от этого полемически заостренного мнения мягко отмахнулись. Скиндер верил, что окружающая действительность в очень немалой степени может быть улучшена и переоснащена по толковым потребностям человека. Ему это, как инженеру, и полагалось. Ивашов искоса, но во все жадные глаза смотрел на Елизавету Андреевну и был не в силах еще и поддерживать какое-то развернутое мнение по абстрактному поводу.

Андрей Иванович с улыбкой указывал, что отец Иона ревнует – раньше него сюда, «на станцию», был зван ксендз Бартошевич (так непреднамеренно получилось), и поскольку деятель римской церкви начинание одобрил, то православному священнику осталось только впадать в прямолинейное критиканство.

Елизавета Андреевна мирила всех с помощью крыжовенного, или вишневого, или айвового варенья.

– Вы не против айвы, раз она не растет у нас в бору?

– Нет-нет, что вы, любезнейшая Елизавета Андреевна, откушаю и похвалю, поскольку уверен – найду в нем вкус.

Упоминание о пане Бартошевиче расстраивало не только в кактусовом разрезе. Пару лет назад имел место бурный и досадный эпизод. Тогда еще совсем молодой отец Иона, только-только прибывший на место своего служения по консисторскому предписанию, увидел в гостях у Турчаниновых семейство вышеупоминавшегося ксендза. Пан Бартошевич привез с собою двух польских красавиц – свою племянницу и подругу племянницы; по какой причине они оказались в таких дебрях, как Далибукская сельва, сейчас уже никто не вспомнит. И надо же такому случиться, одну из девушек молодой священник, весь сверкавший риторическим реформаторским пафосом, очаровал. Да настолько, что дело дошло до тайной переписки и даже – но это, скорее всего, домыслы – до приватной встречи в условленном месте. Понятно, что отец Иона выглядит в этой истории каким-то Арамисом, но что поделаешь, в песне было и такое слово. Да надо иметь в виду и совсем юный возраст отца Ионы, и революционный душок времени, и мысли его вообще выйти из рукоположения. Заигрался, в общем, отец.

Пан Бартошевич утверждал, что подруга его племянницы была слишком юна и доверчива, слухи утверждали, что племянница ксендза чуть ли не сама первая писала к служителю чуждой конфессии. Составился эпистолярный пока, но все же рискованный треугольник. В общем, надо было из ситуации выбираться. В силу сана, subtilности и возраста пан Бартошевич деятельного, а тем более физического участия в деле принять не мог. Такой человек должен был быть сыскан несколько на стороне – и был сыскан.

Ромуальд Северинович Порхневич. Положение этого могучего и, кажется, весьма состоятельного человека было и значительным, и двусмысленным. Он старался со всем своим кланом затвердиться в шляхетском качестве, но для этого у него весьма недоставало внешних показаний. Бумажная его битва с архивами и канцеляриями шла своим чередом, а повседневная практика служила поводом для всяких мелких досадных уколов в самый центр самолюбия. Вот хотя бы в костеле его семейным не дозволялось помещаться во время службы на местах среди родовитых поляков. Приходилось тесниться среди простонародья, где можно было застать и мужика-оборванца, но католика. Чуть ли не в притворе приходилось слушать проповедь, до того доходило, что хоть не ездил совсем на службу от стыда. Да и в остальном жены местных шляхтичей или лиц, в своем достоинстве претендовавших на подобное звание, ни за что не пригласили бы супругу пана Ромуальда на чашку шоколада, как это было принято в их среде. И это при том, что большинство из них или были должны Порхневичу, или подумывали о том, чтобы у него занять.

Но и богатство его само по себе не обладало полновесностью. Еще дед Ромуальда Франц Донатович каким-то непонятным, канувшим в волны времени способом приватизировал право представлять мелких арендаторов своей деревни и мельников типа Кивляка не только перед лицом землевладельцев вроде того же графа Турчанинова, но и перед властью. Он не был официальный откупщик, однако положение его было особое. Никто не знал в точности, в каком таком документе, с какой такой печатью права пана Франца Донатовича оговорены. И оговорены ли вообще. Да, жизненное дело движется таким образом, что будто бы все законно с его стороны. Ко временам Ромуальда Севериновича положение стало привычным, и никто против него умышлять и не пробовал.

Но сомневающимся, пусть очень тихо, было немало. Крестьяне вёски Порхневичи, тем более что треть от их числа имела имя деревни в виде своей фамилии, были, надо сказать, довольны, что у них есть этот как бы барин; он умеет обойтись с отдаленными господами, и до голода в деревне никогда не доходило, как у некоторых. Надо – открывал Ромуальд и свои закрома, если кому-то нечем было отсеяться.

И вот случай. Пан Бартошевич вечерней порой прибег к подмоге пана Ромуальда Порхневича. Так-то и так-то, выручайте, уважаемый! Ума, мол, не приложу, как тут быть! А именно той самой ночью в тени липовой аллеи должна была произойти встреча неосторожного отца Ионы то ли с племянницей ксендза, то ли с подругой племянницы. Да, ксендз Бартошевич использовал тайну исповеди в семейных целях. А что делать, если без того не обойтись!

Молодые люди только-только протянули друг к другу трепещущие руки, как явился Ромуальд Северинович на своей бричке прямо из ночной тьмы и разрубил нарождающуюся двусмысленность своей тяжелой, безапелляционной дланью. Говоря проще – отстегал молодого батюшку хлыстом, да так, что тот чуть не неделю хворал.

Девы отбыли в Вильну, отец Иона – в койку зализывать следы разговора, а пан Порхневич теперь взял достойное место в костеле Святого Казимира.

Правда, не обошлось без дополнительных усилий. Имелся «в обществе» некий пан Лелевич, желавший быть, что называется, святее папы. Всегда в обществе находится такой. Даже зная о благодарности ксендза Бартошевича в адрес Ромуальда, он попытался показать «псы-креву», представителю собачей то есть крови, что рано ему числить себя полноправным членом парафии. В праздничный день, при стечении народа и транспорта у костела, озлобленный Лелевич перегородил своей чахлой коляской дорогу перед носом коляски Порхневичей. Три брата – Донат, Витольд и Тарас – молча выгрузились из экипажа и одним махом сковырнули преграду Лелевича в кювет, после чего проследовали далее, оставив того бессильно злобствовать. Ромуальд Северинович оставался сидеть в коляске и даже глазом не моргнул.

То, что совершил пан Порхневич, было явным преступлением, но отец Иона решил не затевать дела. Во-первых, стыдно, во-вторых – ему был отлично известен настрой местных царских чинов: им было велено не трогать поляков без явной необходимости. Поляки в представлении Петербурга непрерывно находились в преддверии очередного бунта. И местные суды все сомнительные дела, если судился кто-нибудь из русских с поляком, решали в пользу шляхты. Да и обращение к благочинному по этому поводу не добавило бы молодому батюшке авторитета. Он решил затаиться. Настанет день.

Интересно, что, продвинувшись в храмовом измерении, пан Ромуальд остался там же, где был в измерении светском. Этому было объяснение: супруга громадного Ромуальда Тамила Ивановна была обычная крестьянка; брак в свое время совершился по сильной взаимной страсти и даже расстроил Северина Францевича, тоже, как и все Порхневичи, питавшего высокие виды, да ничего уж не поделаешь. Принимать неловкую, вопиюще не знающую форм обхождения тетку из лесного мешка церемонные провинциалки тотально отказались. Вот так: спаси женскую честь, и нарвешься на черную женскую неблагодарность.

Вот и приходилось только словесно разить тень католического врага.

– Вы наговариваете на него, батюшка, – тихо, дружелюбно улыбалась Елизавета Андреевна.

– Где же наговариваю, дорогая моя, одну только правду и имею донести.

Супруги Турчаниновы были демонстративно светским семейством – времена стояли такие, что по-иному людям их круга вести себя было как-то даже и странно. Крещенные в Православие, они даже на Пасху не делали визита в храм, к глубочайшему огорчению отца Ионы. Он вел упорные и неравные бои с католическим окружением. Правда, простой народ был весь у него, но часть элитная была вся у Бартошевича.

– У нас здесь территория совершенно нейтральная в конфессиональном смысле, – напоминал Андрей Иванович, когда градус религиозного разговора, бывало, поднимался за столом.

– Потому все тут кактусами и зарастает, – шептал едва слышно отец Иона, а вслух замечал графу, что вот польское дворянство сплошь религиозно, тогда как наше...

Турчанинов ласково улыбался ему, как бы говоря: мы смотрим сверху вниз, со своей просвещенной точки зрения и на темный народ в вашей церкви, и на господ в костеле Бартошевича.

Скиндер согласно кивал: науки и машины – вот откуда нас ждет благодеяние будущих благ.

Чтобы лишний раз не встречаться с отцом Ионой, Ромуальд Северинович почти не навещал Дворец, хотя у него глаз сильно зарился на некоторые части этого имения. Например, кактусовод неразумно, по его мнению, забросил небольшой стеклолитейный цех, что за ельником при прежнем владельце, пане Суханеке, был устроен при самом впадении ручья в Чару. Ромуальд Северинович мечтал затеять небольшие лавки в Волковыске, Новогрудке и Лиде, где рассчитывал открыть пивную торговлю, а для этого требовалось известное количество бутылок. Отливая свою посуду, он мог бы выброситься на широкий губернский рынок с дешевым продуктом или войти в долю с кем-нибудь из заслуженных пивоваров.

И так, и эдак подъезжал Порхневич к графу, но тот только морщился. Мысль о хлопотном и неверном, на его взгляд, предприятии ему была неприятна. Ромуальд Северинович наставлял Скинтера на то, чтобы он готовил графа к необходимости технической революции в пределах имения, опутывал его натуральное сознание прелестью технических сказок.

Андрей Иванович не соглашался, но и не отказывал решительно, он обнаружил, что, несмотря на весьма «волчий» антураж гиганта из Порхневичей (он его, кстати, про себя прозвал Кадудалем – в честь одного из лидеров Вандей), он имеет дело с человеком понимающим, рассудительным и, без всякого сомнения, полезным. Граф рассчитывал с его помощью все же наладить отношения с окружающими дворянчиками, а то живешь как на острове. Местные, даже самые нищие из шляхетского сословия соседи, не хотели забыть, каким образом Турчаниновы добыли имение гордого и даже, кажется, павшего в боях пана Суханека.

Ромуальд Северинович, таким образом, вел речи об экономии, а граф о гордости. Эти контакты на несовпадающих курсах продолжались довольно долго. Однажды Кадудаль сказал графу напрямую:

– Позвать кого-то, наверно, можно, да только не приедет никто.

– Мы же даже в церковь не ходим, – немного не к месту, а вообще, к месту заметил граф, намекая, что религиозного барьера между Турчаниновыми и местными поляками быть не может.

Ромуальд Северинович вздохнул, ему не хотелось отказывать в помощи графу, слишком многого он сам от него хотел.

– Даже если кто и явится, допустим, если вы объявите у себя во Дворце ассамблею, то такой едкий мозгляк, как Лелевич, и первым же тостом призовет помянуть прежнего хозяина – пана Суханека. То-то будет радость и взаимное удовольствие.

– Но мы же не отнимали имения, мы... – захлопала фантастическими ресницами Елизавета Андреевна.

Она, как выяснилось, даже плакала ночами от жестоковейности соседей и мечтала о всеобщем замирении. Состояние войны тяжело для доброго сердца. Елизавета Андреевна задумала даже строить народную больницу – где-то между Дворцом и Тройным хутором.

Ромуальд Северинович только вздыхал. Да, это намного более дельное участие в окружающей жизни, чем «станция» Андрея Ивановича, но шляхетские сердца не растопит. Богатеи здешних мест ездят лечиться в Волковыск или Новогрудок, мужики мрут стационарно. В

общем, общество больницей не покоришь. Заискивание перед голодранцами не повысит акций Дворца в глазах злоумных Лелевичей.

Елизавета Андреевна вздыхала:

– Но я же обещала Ивану Петровичу (это был фельдшер на пенсии, знаний которого хватало для обслуживания простых деревенских организмов).

– Он же и так, хвала Господу, справляется в своих двух комнатках. В одной лечит, в другой спит, и никаких нареканий.

– Так что же, вы прикажете и лес теперь уже не завозить? – в сердцах воскликнула Елизавета Андреевна.

А вот лес завозить надо!

Ромуальд Северинович уже мысленно нашел место для применения ему. Когда все же дело дойдет до строительства бутылочного цеха, леса понадобится немало.

Андрею Ивановичу постоянно втиралась в сознание мысль: не надо искать себе общества среди уездной мелочи. Глянуть надо выше и дальше. Если удастся привлечь человека с солидным губернским капиталом, то и круг общения станет соответствующим.

Андрей Иванович отмахивался: опять вы о своем заводике!..

Так это же барыш, и вернейший. И вы сможете завести себе самых-самых заморских чуд колючего вида. Сейчас вы копейки считаете, а там контейнеры пойдут из Южных Америк. Ромуальд Северинович беспардонно баснословил, но дело не трогалось с места. Но из Пущи надо было как-то выбираться, и поэтому пан Порхневич пробовал и другие пути. Самого младшего из братьев, Генадю (так звали дома и на улице), отправил в Волковыск, в пивную лавку самого Льва Вайсфельда, учиться на приказчика. Разумеется, без жалованья.

Во Дворец стал наведываться регулярно, чтобы держать ситуацию под присмотром. Если виделся там с отцом Ионой, раскланивался, тот отвечал так же вежливо, со стороны было и не увидеть, какой взаимной злости струна натянута меж ними.

Маленькой победой пана Порхневича в великой кампании по постройке стекольного цеха было внедрение во Дворец Савелия Сивенкова. Обыкновенный уездный мещанин с женой и двумя детьми искал места, где бы был прокорм немаленькому его семейству. Как оказалось, во многом был умен и, главное, понятлив. После короткого разговора с ним в буфете у Волковыского вокзала Ромуальд Северинович понял: такой ему нужен. Был до недавнего времени в управителях в доме Гайворонского, но хозяин разорился, пустил себе пулю в лоб из-за игр на лодзинской ткацкой бирже, и теперь Савелий Иванович искал, где бы притулиться. Посоветовал его управляющий лавкой, где пристроился Генадя.

Андрею Ивановичу пан Порхневич сказал, что при нарастающем количестве дел и перспективе лавки где-нибудь в уезде он не сможет больше уделять столько внимания делам Дворца лично, но есть замена. Вон у вас флигелек на отшибе – отремонтирую, и пусть там живет ответственный человек. Андрей Иванович, надо сказать, порядком уставший от напора Ромуальда Севериновича, от всех его могучих, неопровержимых хозяйственных аргументов, легко согласился. Пусть Сивенков, он, по крайней мере, не станет диктовать и вмешиваться.

Не станет, уверял пан Порхневич – тише воды и травы ниже житель. Одна тихая, мелкая от него будет польза.

Глава четвертая

Шла своим невзрачным чередом и ссылка студентов. Скиндер все время на колесах, в делах. Ивашов сидел тихо, как ученая мышь, ему уделялось менее всего внимания, что его устраивало вполне. Он, надо сказать, был натурой чувствительной, и конечно же именно он влюбился в Елизавету Андреевну, да до такой степени, что даже видеть ее не мог, и, стало быть, перестал наезжать во Дворец. Когда Скиндер с Ромуальдом Севериновичем отправлялись на

роскошной рессорной бричке «на гумовых колах» веселым полднем, дабы, кто приятно, кто полезно, провести время на веранде или в прогулках вокруг господского дома, он отказывался включиться в компанию, бурчал что-то про «срочный урок» и брел на Чару с удочками и мальчишками. Ромуальд не ломал его – пусть, главное, Витольд при деле и бесплатной наукой пропитывается.

И вот однажды смурной юрист, одетый по-крестьянски в полотняную рубаху и белые от вечной стирки портки, тащил из коричневатой воды под обрывом берега очередную плотвичку, как за спиной у него выросла тень, заслонившая небо. Витольд, Бажа и остальные судорожно вдохнули горячего полднего воздуха и, обернувшись, замерли: Ромуальд Северинович нависал над учителем громадиной. Более того, он сгреб за ворот рубахи студента, так что тот косо растопырился, а с удочки сорвалась жалкая добыча.

Что случилось?!

Ромуальд Северинович не захотел в присутствии учеников обрушивать на зажмурившегося пана учителя клубившиеся в груди и уже даже во рту грозные речи.

А случилось вот что. Машка Жабковская, эта здоровенная, замедленная, рассеянная, немного нечистоплотная, ну, то есть совершенно непривлекательная с куртуазной точки зрения девка – такую Ромуальд и подбирал, предусмотрительно избегая осложнений по той самой части, – забрюхателя.

Когда, как, от кого?

Молчала. Упорно и с видом «хучь убейте, не откроюсь».

Быстрое, рьяное и бестолковое расследование провели родственники и явились к голове уже с челобитной: помощи, ибо сами докопаться не можем. Случай и правда сложный: возраст танцулек и женихований Машка давно переросла, и если уж в более свежем варианте никого из местных хлопцев не увлекла... Все подозрительные личности из числа деревенских ходок были доставлены на допрос к Ромуальду Севериновичу. Никто не отрицал его права на это дознание. Уж если он своим братьям не попускает (а он не попускал вольностей по части женского пола, была такая родовая особенность у Порхневичей), то всем остальным надо было быть готовыми к ответу в этом смысле.

Случаи тайного распутного поведения в деревне, конечно, случались, но исключения лишь оттеняли всем известное: Ромуальд Северинович бесчинства и похабства такого не поощряет.

Во время этого короткого следствия все подозрительные личности вёски, и Гордиевский, и шустрый Саванец отбоярились. Да и Машка только брезгливо морщилась, когда у нее спрашивали о них. Не они!

Скиндер всегда в отъезде, да и немец он! Брезглив. По крайней мере, так почему-то всеми считалось.

Кто-то из Гуриновичей пробрался ночной порой?

Да кто же ради такого рябого добра станет время тратить и рисковать нарваться на гнев Ромуальда!

Простого лихого прохожего в здешних местах быть не могло. Разве что на медведя подумать.

Походив методом исключения, добрались до единственного мыслимого кандидата.

Юрист!

Он все время дома, скучает, зевает, а она тут, прямо рядом, полы моет, – почему бы и не составить быстрому греху?

Юрист сидел на берегу, то радуясь ласковой природе и таинственной реке, то слегка завидя ловкому Витольду, который дергал одну плотвичку за другой, и ни о чем не подозревал. А между тем метод исключения, примененный Ромуальдом, неизбежно вел к его персоне.

Где он?!

Ромуальд бросился на берег.

И вот над юристом скала с цепкими руками и острым взглядом. Но убежденность скалы треснула при виде предполагаемого виновника. Куда уж такому своротить крупную девку; она его лягнет – и он калека.

Не сходится все как-то.

Нет, не он: перепуганный, жалкий.

Впрочем, жизнь учит – иногда жалостью берутся такие крепости, какие устояли против геройства и денег.

Но Ивашов так искренне отпирался... Не сходилось в голове Ромуальда; как ни прикладывай, не прикладывается.

От гнева на возможного виновника следствие перешло к уговорам потерпевшей стороны:

– Маша, вспомни, может, кто-нибудь как-нибудь ненароком, когда ты прилегла подремать после обеда, подскользнул под твое одеяло, а ты и не заметила: с такой коровицы, как ты, станется; при твоих телесных талантах ты и родила бы не проснувшись.

Маша Жабковская в ответ только вздохнула.

– Если не он, тогда кто? Дух Святой?!

И Маша вдруг кивнула, будто осененная новой мыслью:

– Он.

– Кто «он»?

– Пан учитель.

Что ее побудило на оговор? Скорее всего, она своим неповоротливым умом дошла: лучше хоть на кого-нибудь указать, чтобы скрыть подлинного дружка сердечного, а то, судя по обстановке, ему достанется: Ромуальд Северинович человек страшной строгости.

Совершенно ополоумевший от нелепого обвинения, юрист и отнекивался, и клялся, и взывал к разуму – не помогало. Пробовал сам опросить кухарку – когда это было? Она загадочно улыбнулась и высказалась в том смысле: чего там, много раз было.

Испуганный, помятый при разговорах, впадавший то в ярость, то в отчаяние, юрист извивался на своей постанывающей железной койке и кричал хозяину Порхневичей, сидевшему напротив на табурете, расставив былинные по размеру ноги, сдвинув брови и оскалив немного страшный рот – что этого не может быть, он не виноват, ему всего этого не надо, она сумасшедшая!

– Она, может, и дура, да только тебе, пан учитель, от этого не легче. Вину придется заглядывать.

Юрист замер.

– Что?

– А то, обрюхатил девку – женись!

– Я?!

Ромуальд кивнул.

– Это вздор!

– Нет.

– Я не виноват!

– Как же она брюхата?

Юрист даже подпрыгнул на месте:

– Я-то почему знаю!

– Ты не знаешь, зато я знаю.

– Я дворянин, – прорычал юрист, пытаясь с этой стороны указать на абсолютную абсурдность претензии Ромуальда.

– Ай-яй, а нынче как раз не старое время.

– Вы что же, извините, серьезно? Вы представляете себе, что я, что я... женись на...

– Да.

Сказав это веское, окончательное слово, Ромуальд вышел вон из комнаты, до краев полной горем. В заявление Машки он не то чтобы поверил, просто для него оно открывало какой-то выход из ситуации. Он по принятому на себя статусу не допускать такого надругательства не допустит его. Род Порхневичей испокон веку стоит на том, чтоб беззащитных женщин не обижать.

Дворянин впал после яростной двигательной фазы в ступор. И чем дальше и дольше вилась мысль, тем отчаянней выходило его положение. Бежать? Но полицейский надзор! Правда, говорят, многие уезжали даже из Сибири за границу. Но нужны деньги. А пока он получит ответ из дому – если получит, – уже эти дикари его окрутят. Тут не один полицейский надзор, а еще страшный мужицкий. Но не сдаваться же! Ни за что!

Кошмар предстоящего был так абсолютен и подступил так близко своей распахнутой омерзительной пастью, что... Из-за стенки, что отделяла его комнату от кухни, донеслись звуки разговора между Ромуальдом и нехорошей девкой. И разговор этот всего в несколько секунд перешел в крик. Там ругались, причем страшно, очень громко, но неразборчиво, голоса напозвали друг на друга. Одно можно было понять: ор идет о браке.

Потом все резко стихло.

Юрист сидел не шелохнувшись, только инстинктивно приложил подушку к груди, как будто защищаясь от чего-то неведомого.

И тут Ромуальд Северинович вдруг вернулся. Опять сел на табурет. Юрист болезненно вздохнул, горло было пережато судорогой, болезненно, но и радостно: у них что-то не сходится.

Пожевав нижнюю губу, подвигав ноздрями, Ромуальд сказал:

– Повезло тебе.

Юрист схватился за горло, массируя его, боялся задохнуться от радости.

– Не идет она за тебя.

И вышел.

Кошмар неловкой неопределенности продолжался дня четыре. Маша ходила гордая и загадочная. Отвергнутый, но и осчастливленный, Ивашов вел себя тихо и зябко: не дай бог, передумает. При этом ему было еще и обидно где-то глубоко внутри. Его отвергла деревенская кухарка! О, как это страшно – быть полностью в руках женщины!

Разъяснилось все скоро, Маша была не мастер хранить тайны.

Был среди детишек, что составляли «класс» при Ивашове, один очень резвый, очень белоголовый, синеглазый, ярко конопатый – Антон, из семьи Сахоней, что занимали самую крайнюю хату Порхневичей, дальше всего от моста, глубже всего в Пущу. Батяка его был вторым из двух главных деревенских самогонщиков. Испокон веку они гнали свое неподакционное пойло в лощинах леса, что начинались сразу за опушкой, только войди меж елками вглубь. Волчунович вроде как тайком от официальной власти согласовал с Ромуальдом Севериновичем свой заводик в лесу и вечно варил адскую свою водку из местного белого бурака.

Сахонь заупрямился, не захотел отчего-то – скорее всего, просто от характера – падать в ножки Ромуальду и не подносить бочонок к празднику. Семен Сахонь, отец Антона, дерзкий, языкатый мужик, держался на удивление независимо и на угрозы Ромуальда: посажу! – отвечал, скаля зубы: посади! Приходилось его терпеть: тронешь мерзавца, полезного и покладистого Волчуновича, – подведешь под неприятность. Но уязвить Сахоня случая Ромуальд Северинович не упускал. Увидев, что мальчонка Семена тянется к наукам, велел Ивашову: шугани его. Мягкотелый юрист отнекивался от этой роли. Тогда обязанность эту взял на себя «староста» класса – Витольд. Антон был ему изначально, с первых сознательных дней, противен, потому что во всех затеях детских оказывался первым на вёске. Лучше всех бегал, плавал, дрался. Витольд охотно стал гонять Антона, да тот не слушался, а будучи все же отогнан, сидел неподалеку и высмеивал «дурных бурсаков». Побить его раз и навсегда было невозможно: силы

и годы были равны. Но и не звать же Доната, это как-то против сердца. Порхневичи, учил Ромуальд Северинович, не кулаком должны прежде всего действовать, а авторитетом.

Оставалось терпеть Антона как мелкое неизбежное зло. Но тут он неожиданно помог.

Заметили бабы у колодца, что Машка Жабковская гоняется за малым, да вся раскраснелась, кричит страшно и кулаки задрала выше головы. Колодец с журавлем стоял напротив главной резиденции Порхневичей испокон веку, у него всегда толклись бабы – не столько набрать воды, сколько набратся новостей, – и вот при всем народе такая гонка. Хлопец бегал, смеялся и помавал по воздуху каким-то платочком. Жабковская все же догнала его, платок отобрала и стала драть уши, когда другие бабы вмешались.

Что за платок, лазоревый, шелковый, таких сроду у простых девок в Порхневичах не водилось.

Откуда такой?

Маша смешалась и сдалась: друг сердешный баловал.

Ромуальд, когда ему доложили, мгновенно вычислил – инженер!!!

И даже по затылку себя постучал: как это я раньше не сообразил?!

При первом же вопросе Маша раскрылась, вздохнула и обильно заплакала. Да, инженер, он такой, он с подходом к женщине и всегда как приедет...

– Что ж ты его таила, от всех прятала?

– Жениться обещал, если тайну сохранию.

Мстя за пережитой страх, юрист поинтересовался у Ромуальда Севериновича, да еще и при многочисленных свидетелях: будет ли распространяться его справедливость за пределы Порхневичей и всех ли она касается или только таких слабогрудых и безответных, как он, то есть заставит ли он инженера Скиндера жениться на обманутой Машке?

Делать было нечего. Ничего не отвечая, утром следующего дня Ромуальд Северинович заложил бричку, посадил рядом с собой двоюродного брата Ефима, крупного, мрачного мужчину, который и без волчьей шкуры на плечах не уступал в значительности Ромуальду, и они укатили через мост в Гуриновичи; дорога предстояла неблизкая – до Пружан, там инженер ставил паровую пилу в лесопильном хозяйстве.

В Порхневичах поселилось само ожидание, оно принимало разные формы: мужики, взявсь по хозяйству, вдруг раздражались внезапным смешком или, покуривая, неожиданно швыряли окурки самокрутки в грязь и давили лаптем. Многие помалкивали, жадно ожидая фиаско хозяина, ибо устали от его нависания над их жизнью. Когда его обломает столичный специалист по машинам, авось станет всем легче держаться против гордости этих Порхневичей. Гогот баб у колодца не стихал. Одни верили, что «Северинович добьется», другие отказывались верить в такое, уж больно крупной рыбой казался им пан инженер. Попутно очень снисходительно высказывались про юриста: «Таго, можа бы, и абжанил».

Порхневичи даже и сами внутри себя разделились. Многие считали, что да, раз такое правило установил Ромуальд, раз он смотрит тут за народом, то должен добиться. Другие считали, что зря он так разинул рот: а полезет ли кус? Откажется инженер, и придется вернуться ни с чем, а это для всех Порхневичей ганьба.

Особенно усердствовал другой двоюродный брат Ромуальда – Сашка. Редкий случай непреодолимо неудачливого Порхневича. У него все мерли: и жены, и дети, и скотина, и если урождался бурак у всех поголовно, то у него он всецело гнил. Сашка искренне и шумно не любил Ромуальда и по любому случаю задирал его. Бывал бит неоднократно, и открыто, и тайком, но гордо нищенствовал среди цветущих, зажиточных или хотя бы пристойных хозяйств своих родственников и умудрялся гордиться этим, как какой-нибудь благодатью.

Теперь он предвкушал общий, широкий, детальный реванш. Он разгуливал по деревне и с каждым заводил разговор о предстоящей неудаче Ромуальда и о том, какая в этом будет правота и избранность его, Сашки.

Кончилось все поразительно.

Через три дня Ромуальд Северинович въехал в деревню вместе с братом и с господином Скиндером. Прокатили до «замка» Порхневичей, там он велел вынести ему чересплечники сватовские и особые фуражки с цветной тульей.

Ромуальд Северинович безошибочно вычислил, на кого надо было возложить почетную обязанность:

– Сашка, иди сюда.

Двоюродный брат не посмел ослушаться, понимая, что проиграл. Послали еще за Иваном Цыдиком и назначили их сватами. По мужицкому православному чину. Негоже было человеку из костела, самому пану Порхневичу, сидящему во втором ряду перед кафедрой ксендза Бартошевича, пачкаться в эту историю.

Бричка, кое-как развернувшись на улице, заросшей репейником под заборами, покатила к воротам Жабковских, благо были они в полусотне шагов. Скиндер сидел как влитой и вкопанный, не моргнув глазом, не дернув ноздрей, хотя народу собралось множество и все внимательно на него смотрели.

Ромуальд и Ефим остались стоять у ворот двора, в хату вошли Сашка и Иван Цыдик, Жабковские сидели там, внутри, ни живы ни мертвы. Им уже донесли: ждите. Прошли глухие, картонные переговоры: у вас товар, у нас купец; мальчишки налипли на окна, но ничего толком не успели рассказать – все вышли. И Маша, и батьки, даже кое-как переодевшиеся в приличное к случаю.

Скиндер все сидел в бричке. А за ней уже пристроили две еще другие, пусть и не «на гумовых колах», а попроще.

Только когда Маша вышла за ворота, Скиндер изволил покинуть свое место и помог невесте подняться в бричку. С ними поехал и Ромуальд. Родители и прочие родственники двинулись на двух других повозках, а прочие бегом следом.

Отец Иона, изображая несуществующую солидность, обвенчал их.

Ромуальд, Ефим и еще человек шесть взрослых Порхневичей стояли вне церковной ограды, покуривали, изображая поляков. Рядом терся Ивашов. Он никак не мог выбрать, куда ему, бывшему революционеру и агностику по убеждениям, ближе: к православным или к католикам.

Когда вернулись, на дворе у Жабковских уже на быстро сколоченном сосновом столе накрыли угощение – отъезжая, Ромуальд отдал команды. И даже брама стояла благодаря местным, немного смущенным хлопцам. Они получили свое за работу, пропуская молодых во двор... А дальше уследить за событиями уже труднее: много выпили самогону.

Скиндер уехал даже не на рассвете, а еще ввечеру. Ромуальд сурово велел Маше не рыдать по этому поводу, ибо у мужа дела важнейшие, аж в самой Жабинке, и не скоро он будет обратно.

После этой истории авторитет Ромуальда Севериновича вознесся уже туда, куда не достигает человеческий ум, как бы критически он ни был настроен.

Один лишь юрист Ивашов задавался мыслью: какую мзду или какую угрозу предложил Ромуальд Арсению Скиндеру за этот спектакль? Интересно, что никто из деревенских, понимая где-то в душе, что все наблюдали что-то условное, а не полноценную женитьбу, тем не менее в обсуждение этих сомнений вступать не любил – не работала народная фантазия в этом направлении, и все тут. Отнеслись как к установившейся погоде: раз она такая, так с ней и будем жить.

История не закончилась вечерним отъездом немецкого мужа. Скоро выяснилось, что имеется тонкая, но вместе и вполне ощутимая нить, связывающая его с семейством. Как только родилась дочка у Марии, ее назвали Моникой, и все семейство стали сначала дразнить, а после

уже и просто называть Скиндерами. Причем моду эту начал юрист. Увидев кухарку с ребенком на руках, он скаламурил при большом стечении свидетелей:

– Ну что, Маша, теперь ты у нас с киндер?

Селяне поняли не сразу, но он потрудились объяснить, очень ему хотелось, чтобы его остроумие было оценено.

Теми же днями пришли первые деньги от господина инженера. Сразу десять рублей. И для деревенских это было весомым доказательством того, что отсутствующий муж не против того, чтобы в Порхневичах прижилось его имя.

Скоро выяснилось, что деньги приходят регулярно, хотя и не часто, все привыкли и уже без всякой игры словами звали Жабковских Скиндерами. Отсутствуя в деревне физически, инженер очень даже принимал участие в здешней жизни.

Глава пятая

Петр Сергеевич Ивашов, получив право вернуться в Петербург – скостили срок ссылки, – удивлялся своим настроениям. В первые месяцы пребывания в лесных дебрях рвался к себе на Морскую, а теперь вот, когда соизволение было подписано, как бы задумался, как тот самый Робинзон: а стоит ли покидать душевно обжитой край ради северных столичных неизвестностей?

Отчасти дело тут было в хозяйке Дворца. Его односторонний, платонический роман с Елизаветой Андреевной перешел уж в совсем бесплотную форму. Два года он не ездил во Дворец. Тоненькая, порхающая фигурка графини приняла совершенно условный вид в его воображении. Но место занимала большое и важное.

Долго обдумывал слова прощания. Но жизнь избавила его от этих мучений.

Елизавету Андреевну он помнил исключительно среди свежей, одухотворенной растительности ее сада, но прощальный визит пришлось отдавать по промозглой ноябрьской погоде. Просто прыгнул с телеги, где лежали увязанные вещи и сидел за кучера Витольд Порхневич, и завернул вместе с Ромуальдом Севериновичем к главному зданию.

За несколько дней до того произошло событие странное, почти невозможное, если учесть особенности места и свойства здешнего народа. По осени было ни с того ни с сего нашествие ежей на Гуриновичи и Тройной хутор, вреда они нанесли немного, но взволновали население необычностью события. И кто-то возьми и брось: это граф, мол, виноват, с его станции сбежали игластые, он их подбил.

Внезапно, ничем не предвзяв своего краткого бунта, местные крестьяне забросали вечером камнями и мерзлыми деревьями стеклянную башню оранжереи. Начавшийся как по команде снегопад поглотил колючую, но нежную коллекцию.

Елизавета Андреевна была охвачена ужасом и, пребывая на сносях, в самый момент визита навсегда уезжающего студента кричала в спальне, рожая недоношенного младенца. Рожаящая среди осеннего неуютя и разгрома женщина – что могло быть отличнее от легкого летнего образа, который собрался увезти в своей памяти юрист!

Бесшумный, карающий снег сыпал и сыпал в широкие стеклянные дыры, нанизывая разлапистые снежинки на удивленные иглы; младенец, завернутый в пеленки, таился в темноте и тепле специально пред тем протопленного камина; Елизавета Андреевна почти неслышно, но мучительно сипела сорванным голосом в спальне и принимать никого не могла. Андрей Иванович, оглушенный неожиданностью и иррациональностью народного гнева против его столь мирного образа жизни, сидел в кресле рядом, вскакивая, чтобы руководить жалкими работами, что проводил Сивенков, героически в холодной ночи накладывая мокрые дерюги на колкие стеклянные дыры.

Там, в оранжерее, под центральным провалом, впускающим поток снега, и встретился Ивашов с графом Турчаниновым. Граф после короткого сомнения вдруг обнял Ивашова как брата и разрыдался у него на плече, повторяя одну и ту же фразу:

– Она умрет, она умирает, – почему-то по-французски, словно драматическое событие содрало с него наносную русскость, обнажив чисто дворянскую душу. Кстати, трудно понять, жену или коллекцию граф имел в виду.

Петр Сергеевич не знал, что отвечать, почему-то был уверен – хозяйка не умрет, но не соглашаться с горем хозяина ему казалось невежливым. Чем бы это кончилось, сказать трудно, но тут Ромуальд Северинович взял графа за плечи, обмотанные несколькими шальями, и увел внутрь дома, то шепча успокаивающие слова ему на ухо, то отправляя трезвые команды Сивенкову, матерно кряхтевшему и облизовавшему окровавленные пальцы там, на крыше. Вел пан Порхневич себя хоть и плавно, но слишком по-хозяйски. Как будто не только отчаянный Сивенков, но и сам снегопад находится у него в ведении.

В последний вечер перед отъездом Ивашов и Ромуальд Северинович пили чай в конурке юриста. После его убытия здание тут же переименовали в «школьный дом» – так он и будет называться до того самого момента, как его спалят огнеметы.

Завершив все свои дела во Дворце, пан Порхневич перешел к замыслу, связанному с петербургским вояжем юриста. Они уже в общих чертах обговорили, что Витольд, сумевший присоединить к своей природной смышлености и некоторое количество причудливо скомбинированных знаний, поедет с Ивашовым. И тот отдаст мальчика в приличное учебное заведение для таких вот мальчиков. Решение вызрело не разом, а проросло из сложного мыслительного цветника в голове неугомонного полушляхтича.

К этому решению Ромуальда Севериновича подтолкнуло письмо, явившееся за месяц до того из Минского архива при канцелярии градоначальника, с уведомлением, что никаких письменных следов, означающих, что семейство Порхневичей будто бы имеет благородное происхождение, там нет. Ромуальд Северинович был этому не рад, но был к этому готов. Уже много десятилетий шла борьба рода Порхневичей с немотой и косностью бюрократического архипелага. Тлела искра надежды, что все же где-то, в каком-нибудь пыльном шкафу, под каким-нибудь спудом отыщется нужная кучка букв, из которых можно будет возжечь устойчивое пламя славы, предвкушаемой куда более сотни лет. Как рачительный хозяин не кладет все яйца в одну корзину, так Ромуальд Северинович не направлял все свои надежды по одной дорожке. Упирается Варшава, коснеет Вильна, темен Минск – выстрелим в сторону самого Санкт-Петербурга. Выучившийся сын Витоля или докопается до зарытого под тяжкими бумагами источника польской гордости, или выйдет в петербургские силачи сам.

Ивашову это предложение первоначально показалось просто диким. Он, человек и себя-то психологически обслуживавший с трудом, каждый день будто на краю бездны, а тут ему на горб романтической крылатки хотят навалить еще мешок с колониальным товаром! Но волна и дамбу промывает, постепенно юрист стал привыкать к мысли, что вернется домой не один. Пока это казалось далеко, то было и не так уж страшно, а когда подступило ко дню, то куда уж деваться. Он написал матушке, упреждая удивление и душевные ахи, но странным образом ничего очень уж страшного в ответ не последовало. Видимо, мадам Ивашова решила, что сын ее на манер английского офицера Ост-индской компании явится домой с каким-нибудь арапчонком.

Со временем Петр Сергеевич – чем ближе к отъезду, тем он настоятельнее требовал, чтобы его называли по имени-отчеству, поражение в правах кончилось, – сделался даже энтузиастом этого плана. Ему тихо льстило, что он станет водителем этого молодого характера на новых, цивилизованных территориях. Ромуальд Северинович, наоборот, даже стал разыгрывать некоторую сдержанность в отношении этого плана: мол, да, первый камень в пруд этой идеи бросил он, но, как знать, какие будут от него круги, стоит ли так уж дерзать.

Петр Сергеевич горячо оппонировал: нельзя зарывать искру, может быть, какого-нибудь даже дара в родимой, но бесперспективной ботве, такому толковому пареньку, как Витольд, нельзя оставаться в глуши – зарастет бурьяном родник разума. Надо двигаться в большие университетские центры.

Польщенный Ромуальд притворно отмахивался:

– Зачем нам, здесь приживется, и дел тут не переверочать.

– Занижаете, занижаете, Ромуальд Северинович, горизонт сына своего, а он, может быть, птица иная, не здешнего леса житель. Образование, только оно по-настоящему выявляет все высокое предназначение человека.

– Испортится он на городских диванах.

Петр Сергеевич возмущенно вскакивал:

– Кто? Витольд? Не таков, не таков, он со стержнем.

– Стержень – пока дома сдержан, а там пойдет финтить.

– Не понимаете вы Витольда. Я сам его учил.

Ромуальд только усмехался:

– Не перехваливайте, зря это. Витольд сынок крепкий, но великан только для здешних краев. А в городе он сотрется.

– Вы Тиглатпалассар какой-то. Сами же предложили. Капризничаете!

– Хоть как ругни, а сын – моя натура. Не может человек выпрыгнуть из своей земли, из своего племени и всех житейских завязок.

– Но вы-то сам!

– Что я?

– Когда я только приехал, вы на каком языке говорили хотя бы, к примеру, – и понять было нелегко. А теперь речь у вас, можно считать, столичная.

Ромуальд Северинович не удержал усмешку, ее можно было принять за самодовольную:

– Так я годами с графьями беседы веду – обтесался, приноровился.

– Так и Витольд пообтешется.

– А по-польски я говорю еще лучше, – усмехнулся Ромуальд в усы.

Петр Сергеевич не услышал этих слов, продолжая убеждать собеседника, что он должен дать сыну столичный шанс. Акцент – это тьфу, сдует его как ветерком, стоит оказаться ему на невском берегу.

Надо сказать, что Петербург не был для белорусов чем-то запредельным и сверхъестественным, какой-то Америкой. С середины девятнадцатого века грамотные местные люди тянулись именно в столицу династии и империи, а не, например, в Москву, столицу России. Их больше интересовала возможность приблизиться к источнику верховной власти, а не влиться в океан русской жизни, выкроить что-то для своих отдельных нужд, а не кануть в гигантском котле народов. За первыми потянулись и все новые, и постепенно образовалась в невской столице приличная диаспора выходцев из приднепровских, припятских, наднеманских губерний. Петербург не был всего лишь гранитной чужбиной для белоруса.

Как уж сообщалось, вступая «на престол» в Порхневичах, каждый новый предводитель рода – Ромуальд Северинович, а до него и Северин Францевич, а до него и другие – обязательно совершал одно ритуальное действие: писал с помощью купленных грамотеев дорогое и невнятное прошение в какой-нибудь официальный орган для добычи подтверждения своих прав на особое положение на своей затерянной земле, ища хотя бы косога следа упоминаний в официальных документах о том, первоначальном Порхневиче.

Это была сложная психологическая игра. С одной стороны, на трезвом уровне глядя в холодное зеркало самоанализа, и Франц, и Северин, и Ромуальд понимали, что там, в глубинах времени, навряд ли что может быть, кроме невнятной сказки. Но, отвлекшись от трезвого взгляда на сухую реальность, оборачивались романтиками, грезящими о легендарном предке и

о том, что рано или поздно найдется подтверждение: он существовал. И любая приблизительная письменная мелочь могла быть сочтена достаточной для окончательной уверенности. Но пока все бумаги были против Порхневичей.

Поиски предка составляли как бы идеологию правящего семейства, в надежде отыскать «его» было основание власти и авторитета. Отказ от поисков означал бы в огромной степени отказ от самого авторитета.

Дедушка, Франц Донатович, вызнал в свое время, что в «Семейных списках Минской мещанской управы» ничего определенного про его пращуров не записано. Порхневичи не проходили там ни как мещане, ни как землепашцы. Он обрадовался. И закрыл поиски. Если не мещане и не крестьяне, значит – шляхтичи.

Северин Францевич, следуя родовой традиции, произвел свою письменную экспедицию. Положение обязывало. Он получил сугубо отрицательный ответ. Тот факт, что в «Городельском привилее» о Порхневичах как о шляхтичах ничего не нашлось, его расстроил, и он решил свернуть разыскания до лучших времен. Пусть сын попытает счастья, если захочет.

Ромуальд Северинович перевыполнил свой родовой долг – совершил две попытки. После неудачного письма в Минск он отправил красочно, но, видимо, не очень грамотно составленный запрос в Правительствующий сенат, во «Временную служебную геральдию», но оттуда ответа пока не было. И в этом оказалось казусное удобство. Он, как глава рода Порхневичей, заявлял повсюду: власть трусливо или безалаберно замалчивает ответ.

Рано или поздно настанет время Витольда сказать свое слово в этом бесконечном препирательстве с исторической тайной. Так пусть едет на место и вникает в дела там.

Хождение в столицу получилось не очень длительным, если смотреть глазами родственников, и бесконечным, если принять во внимание чувства подростка.

Как мог Ромуальд Северинович, при его практическом, трезвом уме, не разглядеть в Петре Сергеевиче личность легкомысленную и неосновательную!

Неудовлетворенная родовая гордость застит глаза и не таким умам.

Господин студент взял с собой паренька, поддавшись эмоциональному порыву деликатной, но нравственно дряблой души; это была ужимка совести, столь широко распространившаяся в те годы, интеллигентская хворь, частный рецидив общей вины образованного сословия перед народом, перед трясиной народного стона. Петр Сергеевич хотел считать себя порядочным человеком, с моралью и новыми взглядами, для этого и потащил крепкого белорусского хлопчика за собой, совершенно не представляя, как реально определить его в новой жизни. Таким людям всегда кажется, что самое хорошее желание, самое положительное душевное движение преобразуется как-нибудь в реальные дела.

Нет, Петр Сергеевич не забыл мальчика в первый же день по прибытии к себе на Морскую, он представил его маменьке, посадил за стол и долго рассуждал на темы его будущего на столичных путях, очень себе нравясь в качестве такого рассуждающего. Анна Филипповна, добрая, но неглупая женщина, не препятствовала рассуждениям сына, про себя думая свою реалистическую мысль насчет несчастного гостя.

Наутро Петр Сергеевич помчался по своим друзьям и взял с собой Витольда, и «болотный Пятница», как назвал его один из приятелей вернувшегося студента, имел некоторый успех в качестве «молодого народного факта», но недолгий и быстро стихающий. По нескольким причинам. Во-первых, очень все же был юн годами и не имел шанса даже на психологическое равноправие в кружке Петра Сергеевича, не говоря уж об интеллектуальном; читать не столько любил, сколько привык изображать, что читает и любит это дело. Во-вторых, не обладал ни одним хоть чуть-чуть выраженным талантом: не пел, не рисовал, не сыпал фольклорным мусором на петербургские паркетки... То есть ни в каком отношении не годился в новые Шевченки. Своеобразный акцент речи его оказался не выигрышной, а отягощающей его образ особенностью.

Чувствуя нарастающую ложность своего положения в студенческом кружке – все же умом и достоинством от природы обижен не был, – Витольд стал отлынивать от линии благодетеля. То раз вроде как захворал, то потерялся перед самым выходом в очередное заседание. Разок уклонился от общего барского стола и наелся каши в людской.

Анна Филипповна, маман, такому развитию дел не мешала и была ласкова с тихим инородцем. Не удивилась, что лютой тяги в мальчике к учению не имеется. Стала использовать его по мелким поручениям, это он делал охотно, что позволяло ему не чувствовать себя нахлебником: нахлебничество для гордого характера тяжело. Анна Филипповна держала ателье, что-то среднее между парфюмерным салоном и кабинетом эзотерических практик. После безвременной кончины мужа, профессора-ориенталиста, она таким своеобразным способом приспособила его экзотическое наследство к своим нуждам.

Витольд охотно бегал с посылками и извещениями о предстоящем приеме у «Мерцающего ларца». Город ему, можно даже сказать, нравился, чем-то напоминал родной Далибукский бор – мрачный, величественный, почти всегда сырой. Забавляло количество городских сумасшедших, извозчиков и странных фруктов – апельсинов. Правда, была одна неприятная сторона в принятой на себя должности – акцент. Клиентки Анны Филипповны посмеивались над парнем. Витольду полагалось по принятым в салоне правилам сопровождать вручение послания или флакона с таинственным зельем произнесением неких магических слов. При его манере говорить это производило комический эффект, что Анне Филипповне не нравилось. Она давала уроки правильного произношения «курьеру».

Так уж устроена жизнь в господском доме, что верховная воля транслируется на все нижние уровни домашней жизни. Витольд, к тому времени уже оставивший комнатку на барской половине, обретался в дворницкой у старого татарина Равиля, очень чистоплотного, трудолюбивого и предельно верного хозяйским установлениям работника метлы. Свою преданность барам он понимал так, что должен следить за исправным поведением парня. Поскольку в природной чистоплотности Витольд Равиля даже превосходил, то полем реализации опекунских своих обязанностей Равиль выбрал русский язык. «Ючи рюску», – к месту и не к месту настаивал он. Витольд давно уже не стеснялся своего акцента, а обижался за него, как за убогого родственника, от которого нельзя отказаться. Когда могучий старик тыкал его кулаком в загривок, он зло кричал: «Чаго вы ад мяне хочаце?!» – что служило доказательством того, что татарский учитель петербургского диалекта прав в своих претензиях.

Терпеть до бесконечности эту ордынскую тиранию во имя чистой великоросской речи такой парень, как Витольд, конечно, не мог. И однажды на очередную «лекцию» по правилам русской омофонии ответил деду, в общем, незлому и считавшему, что хочет парнишке добра. Да так ответил, что тот рухнул в угол между топчаном и печью без признаков жизни в голом улыбочивом лице. Почему первая реакция была – бежать? А какая могла быть еще? Идти, бросаться в ноги, просить – помилуйте, это невыносимо.

Короче говоря, бежал, прихватив лишь подаренный Анной Филипповной полушубок. Надо сказать, в воротах дома столкнулся с сыном благодетельницы и в ответ на участливый вопрос того «что случилось?» заорал на него что-то свирепое: «Ничога мне ад вас не трэба!» Или вроде того. В разговоре матери и сына прозвучали слова про неблагодарность, все же бытующую в простом народе, про то, что очень трудно вживить природного человека в городскую жизнь.

И это было правдой. Городская жизнь Петербурга показала парню свою истинную прелесть. Судьба Оливера Твиста показалась бы... Впрочем, выжил. Обтрепался до невозможности, переболел какой-то гадостью, отчего вся грудь до конца жизни осталась в следах от мелких зудящих нарывов; обогатил свой русский язык множеством словесных достопримечательностей; совсем было решил, что теперь он зверюга этого каменного бора.

Интересно, что о доме почти не думал, не скучал, видимо, понимая, что бесполезно, дом недостижим и вернуться туда нельзя, как в прошлую жизнь.

Но тут подступил к нему случай. Метельной февральской ночью, ища места, где можно хотя бы просто не околеть, Витольд прокрался в извозчичью чайную на Васильевском, где в прокисшем, еле просвеченном парой огарков мутном воздухе, развалившись на лоснящихся лавках, дремали грандиозные овечьи тулупы с подвыпившими извозчиками внутри. Он забился в угол, за чей-то громадный валенок, и задремал. И разбудил его звук неправильной, но родной речи. Два просто, но прилично одетых господина, случайно забредших в заведение, чтоб переждать порыв ночной бури, разговаривали преувеличенно по-белорусски. Как люди, которые не только пользуются языком, но и готовы в любой момент выступить на его защиту, буде кто-нибудь из окружающих поинтересуется: чего это вы там?

Витольд подал голос из-за валенка. Остальному населению было наплевать на сидящих за полуштофом полугоспод. Столицы всеядны, никакой народностью или заграничностью столицу не пронять.

Господа были немало поражены соплеменному отклику из угла. Разговорились. Оказалось, что они в общем баре, ученые господа, случайнейшим образом оказались в этой кислой дыре. Витольд поведал им свою историю. И в тот же момент выяснилось, что ему зверски хочется к родным елкам, на склизкий свой суглинок. Не желает он завоевывать Петербург и навсегда охладил сердцем к холодной к нему невской Пальмире.

И уже через пять ночей, проведенных в доме адвоката Сидоровича, он уже ехал в синем вагоне в сторону Витебска, не отрываясь от калачей с чаем и слушая спутника, молодого университетского студента по фамилии Норкевич. Приятный, мягкий, с нездорово раздутой грудью человек с огромной, творчески растрепанной головой, все время поправляющий очки с очень толстыми стеклами. Он возвращался в замечательный город Волковыск после наполненного таинственным смыслом вояжа в сообщество столичной белорусской интеллигенции. Витольд шевелил радующимися пальцами в великолепных сапожках из рыжей кожи и слушал тихую, бесконечную националистическую лекцию. Господин в хорошем господском костюме стоял за мужицкую правду. Причем не просто мужицкую, а именно что за приеманскую.

Из слов спутника выходило, что тамошний мужик как-то особенно и, даже можно сказать, специально забит и несчастен даже в сравнении с мужиком русским. Его грабят, белоруса, даже не признавая до конца факта его существования.

Витольд ел бублики с чаем – ему очень нравилось давить передними зубами маковые зернышки – и помалкивал. Произносимое было для него новостью, но новостью неинтересной и к его жизни никак не относящейся. Невнятная домашняя польскость, и назойливая татарская русскость, и теперь вот, в поезде, мужицкая белорусская правда с бубликами – это многовато для тринадцатилетнего ума. Но Норкевич был так страстен, говорил так увлеченно и вообще было во всей его манере что-то бескорыстно дружелюбное, отношение к юному собеседнику как к равному и важному человеку, что Витольда проняло. Тем более что речь шла на том самом языке, что был его внутренней опорой среди ленивой, холодной столицы.

Норкевич изрядно, но, как у всех национальных агентов принято, однобоко образованный человек, заливал ум мальчика ослепительными сведениями из прошлого этого удивительного, незаслуженно забитого коренного населения великих пущ и болотистых мест.

Главным героем его рассказа был «этот народ». Оказалось, что именно он был содержанием великого Великого княжества Литовского, которое превосходило в годы расцвета и тогдашнюю Польшу, и тогдашнюю Московию. Он был опора светлого Православия и носитель всех лучших качеств, что дали развитие наук и цивилизации на упоминаемых землях. Витольд не сказал собеседнику, что дома посещал костел. Вернее, забыл.

«Этот народ» имеет право на особое отношение, а не только на равноправие, ибо долго другие народы и династии глумились над ним, пили его кровь и ели им добытый хлеб.

«Этот народ» имеет право на свое образование, на газеты, театры и профессию.

«Этот народ» заслуживает своей истории, а не должен быть приписан к истории другого народа, пусть и важного, типа поляков и великороссов.

«Этот народ» должен быть реально выделен из всех других, и опознан, и обозначен подлинным своим именем.

Что это за народ? Осторожно все же поинтересовался Витольд, хотя и чувствовал, что вопросы лучше не задавать.

Норкевич провел растопыренной пятерней по волосам, не столько приглаживая их, сколько возбуждая в соответствии с кипящими внутри мыслями. Глубоко вдохнул и заявил:

– Мы, литвины!

Глава шестая

1918 год. 3 марта заключен Брестский мир. Все, что западнее линии Пружань – Двинск, теперь принадлежало Германии, все восточнее – Советская Россия. Далибукская Пуца с заключенными в ней Порхневичами перешла под немцев.

Ромуальд Северинович плохо спал: было чего опасаться. При желании кто угодно мог ткнуть в него пальцем и сообщить германским властям о его слишком тесных связях с прежним режимом. Надо было как-то себя обезопасить, самый простой способ закрыть старые грешки – быть полезным новым властям. Германия и германская армия в 1918 году напоминала вооруженную до зубов нищенку. Вместо хлеба патроны. Голодные солдаты не ломали строй.

Были объявлены реквизиции, и пан Порхневич показал себя. Он съездил в Кореличи, где обосновался ближайший пост германской власти, нашел там человека, понимающего его язык, и объяснил, что желает оказать помощь новой власти фуражом и продуктами.

Такая инициатива не могла остаться без приветствий. Территориальные немецкие начальники несли плотную ответственность за доставку продуктов с занятых территорий. А тут благодетель является, с собственными телегами, это шанс для местной власти отличиться перед берлинской.

Таким образом, Ромуальд Северинович, тряхнув мощной да надавив на арендаторов, вышел в любимчики нового порядка, и положение его упрочилось весьма.

Сказать по правде, Ромуальд Северинович больше отдал не своего, а из тех запасов, что были на складах и в овинах Дворца. Сивенков, следуя указаниям пана Порхневича, весьма искусно запутал бухгалтерию, и Андрей Иванович не имел никакой возможности понять, каково положение его дел. Тем более ни о каком полномочном владении своим именем после промелькнувшего в политических высях большевистского Декрета о земле и речи быть не могло.

Турчаниновы скорбными тенями бродили по сделавшемуся сразу таким нежилым дому. Знаменитые чаепития с приглашением интересных гостей теперь устраивал (по приказу Ромуальда) Сивенков. Турчаниновы сидели за столом с извиняющимися улыбками. Можно было подумать, что они принимают на себя вину за все: и за крепостное право, и за Ленский расстрел, и за что угодно. Между тем, правда, дворяне не собирались вымирать, после мальчика, названного Сашей, замечательно выжившего и развившегося, родились у них две дочки-погодки.

Ромуальд Северинович все ломал голову бессонными ночами, как ему оживить свою давнишнюю идею стекольного заводика. Братец Генадя в Волковыске уже вышел в старшие приказчики в лавке пана Вайсфельда и присмотрел хорошее помещение для торговли – хоть сейчас въезжай. Да только не втиснешься на занятые торговые территории. Там все поделено. Абрамуки держат всю москательную линию, Казимирчики – пиломатериалы, а все остальное

у Вайсфельда и Ромишевского. Это вообще гродненские, губернские гиганты. Между ними упорное соперничество, уже много десятилетий поляк не может одолеть еврея, а еврей поляка.

Нет, сначала надо определиться тут с заводом и если выйти, то со своими бутылками, тогда есть шанс закрепиться в пивных рядах. А это золотая жила.

Местные жители решение большевиков о земле как бы не заметили: это за границей, чего там. А когда поползли слухи о том, каково приходится мужику под Советами, совсем в себе замкнулись местные. Жизнь шла своим ходом. Отсеялись, снарядили бульбяные и бураковые поля и сели ждать.

И тут в начале июня выходит декрет из Берлина: вся земля, если кем-то захвачена, а равно ценности и тому подобное – все надлежит возвращать старым владельцам.

Турчаниновы опять и снова оказались полноправными хозяевами Дворца.

Ромуальд Северинович кусал локти. Ведь были же у них поползновения кинуться на юг, туда очень многие прежнережимные граждане налаживались. Но он удержал господ. Какой ему смысл в их бегстве; надобно, чтобы они переписали сначала на его имя хотя бы кусок имения, чтобы можно было укорениться. В общем-то Ромуальд, можно сказать, предчувствовал немецкий декрет. Но не предчувствовал реакцию Турчаниновых. Они приосанились и опять завели речь о чистой, идиллической жизни на лоне природы и слышать не хотели, что их соседу лоно это требуется для дела.

Андрей Иванович водил гостя в оранжерею как к причастию во время любого посещения Порхневичем Дворца. Ромуальд Северинович мрачно подчинялся, хотя и задыхался в спертom воздухе кое-как возобновленной «станции». Коллекция не полностью погибла тогда под снегопадом. Что-то удалось отогреть, были даже новые поступления – от какого-то фанатика из Ошмян.

Всякий раз, поглядев себе под ноги на расставленные в жалком порядке коробочки с колючими чудесами, Ромуальд Северинович поднимал палец к небу, вернее, к куполу в заплатах и давил на самую болезненную мозоль: продайте цех у ручья – и скоро весь купол будет из нового, сияющего стекла.

Андрей Иванович вздыхал и переводил разговор на другую тему.

Ромуальд Северинович тихо злился. Владелец, видите ли, не хочет видеть чужих людей, пес на сене! Тонкие настроения разорившегося аристократа вызывали в Ромуальде Севериновиче приступы иногда очень сильного раздражения. Но он решил действовать по принципу «капля камень точит».

Приезжал чуть ли не каждую неделю.

Рассыпался в комплиментах (искренних, кстати) Елизавете Андреевне: родив за последние десять лет троих детей, она ни в малейшей степени не утратила своего легкого, обаятельного облика.

Гость пил с хозяевами чай на веранде летом или в зале в ненастную погоду и всячески старался показать, как он переживает за судьбу имения, в частности оранжереи. А она постепенно ветшала. И пан Порхневич, вздыхая, указывал графу на признаки упадка, тот тоже вздыхал и даже признавал: что-то надо делать, – но дальше разговоров не шло.

А потом вдруг количество перешло в качество. После одной очень сильной грозы, наблюдая струи воды, что проливались, переливаясь в лучах уже выглянувшего солнца, граф сказал задумчиво:

– Вы говорили, что у вас есть состоятельный знакомый?

– Да, – почти закричал Ромуальд Северинович.

Состоятельный знакомый был всего лишь на примете у пана Порхневича, но он решил не вводить его сиятельство во все детали дела. Послал записку брату ГенADE: как только появится хозяин, тут же сообщить.

Лев Абрамович Вайсфельд, обладатель обувных цехов на берегу Немана, напротив Замковой горы, двадцати зерновых барж, нескольких причалов на реке, лесопилок и лавок по всей губернии, не сидел безвылазно в своем гродненском доме, предпринимал иногда вояжи по губернии, чтобы контролировать все своим глазом.

И вот прибыл в Волковыск и встал в «Империале». Почему-то все заурядные гостиницы называются очень звучно. Лучшей в городке все равно не было.

Генадя тут же погнал гонца в Порхневичи.

Утром следующего дня пан Порхневич входил в ресторан «Империала» мимо чучела медведя и большой, тоскующей в пыли пальмы.

Промышленник Лев Вайсфельд походил своим видом на родовитого, старого англичанина. И не только потому, что носил сюртуки исключительно английского сукна, отвергая даже неплохое лодзинское. Худой, с тяжелой, широкой костью старик с длинной, абсолютно белой бородой и всегда полуприкрытыми, но не устающими работать глазами.

Ромуальду Севериновичу редко приходилось встречать людей, над которыми он не чувствовал никакого превосходства.

С провинциальной прямолинейностью рекомендовался.

Старик кушал кофий, равнодушно предложил место напротив. Официант забежал вокруг стола. Пшел!

Магнат выслушал большого, странно одетого пана. Да, замысел с бутылочным цехом в принципе хорош. Люди всегда будут пить пиво, а не пиво, так что-нибудь другое. Вон, говорят, открылась неподалеку ценнейшая минеральная вода Кувака.

Ромуальд Северинович наклонился вперед – сейчас будет согласие.

Нет, сказал Вайсфельд, риски велики. Только на прошлой неделе у него сгорели две лесопилки и бондарская мастерская. Тревожное время. Германская власть только вначале показала твердой, а теперь, судя по всему, шатается. Да и сама Германия... Так что в настоящий момент не станет он, Лев Вайсфельд, пускаться в новое немаленькое предприятие.

Через неделю какую-нибудь, не больше, – опять гонец от Генади: в Волковыске объявился другой гродненский значительный богач, пан Ромишевский. Ромуальд Северинович помчался. Нашел его в лавке, где он, добродушно улыбаясь, распекал приказчиков. Пухлый, красногубый, с рыжими усами и шевелюрой, пан Ромишевский выглядел добряком, но люди знающие ведали, каким он может быть кровососом, когда доходило до дела.

Бутылочный цех? А песок есть? Конечно. А вода? Ручей, отличный ручей. А топливо? Торфразработки легко начать совсем поблизости?

Пан Ромишевский улыбнулся пану Порхневичу. Соблазнительно, только я вынужден отказаться.

Уговаривать было бесполезно. Пусть встанет власть.

«Что-то я делаю не так», – соображал Ромуальд Северинович. Но сообразить, что именно, ему не удавалось. Если раньше проект цеха был одним из планов на будущее, то теперь он выступил на первый план, приобретая все качества запретного плода. Однажды ночью он вдруг был осенен такой мыслью: а чего это обязательно хвататься за карманы каких-то отдаленных и капризных господ? Что, если самому взяться за дело?... Да, придется откопать все кубышки, но монет должно хватить. Будем некоторое время сосать лапу, зато потом вся выгода в одни руки.

Ромуальд Северинович въехал во Дворец от Гуриновичей с юга, по липовой аллее, высаженной Турчаниновыми в противовес той, тополевой, что вводила из Дворца на север, к Ново-садам и далее в большой мир. Ехал Ромуальд Северинович в возбужденном состоянии, принятое решение грело грудь, всю ночь он проворочался в постели, но все взвесил и решился. Аргументы были подобраны с учетом особенности турчаниновского характера и должны были добыть успех в этом деле.

Погода была чудная, тихая, светило ласковое солнце, жара еще не разошлась, местные мужики издали кланялись Ромуальду Севериновичу, и, как ему казалось, в их поклонах уже чувствуется – признают уже здешнего барина.

На веранде у барского дома был сервирован всегдашний чай, стоял большой, празднично начищенный самовар, слуга в белом фартуке хлопотал возле. Но прежде самовара и застолья бросились в глаза вновь прибывшему две великолепные коляски перед главным входом. В таких не разъезжает мелкая местная шляхта. Лелевичу и не снилось стать обладателем такого заграничного чуда, с лаковыми крыльями и парой рысаков.

«К чему бы это?» – взволнованно качнулось сердце Ромуальда Севериновича.

Очень скоро все разъяснилось. Приняла его Елизавета Андреевна. Приветливо улыбаясь, усадила в плетеное кресло, сама подала чаю. «А, – догадался пан Порхневич, – экскурсия».

– Андрей Иванович показывает гостям мексиканскую кальцемонию.

А кто гости-то? – хотел спросить новый гость, но удержался, само сейчас все скажется.

Елизавета Андреевна села напротив, на лице ее появилось выражение, которое вполне можно было назвать извиняющимся. Ромуальду Севериновичу нравилась худенькая, славная хозяйка. Правда, он должен был признать, что первое впечатление, будто ее можно склонить на свою сторону, применив только соответствующие средства убеждения, оказалось ошибочным. Она очень не любила обижать человека и обманывать ожидания, с которыми он к ней подступал, но умела отстоять важную для нее позицию, если она действительно была для нее важна. Скорее Андрей Иванович был рохлей.

– Благодаря тому, что вы обратили внимание на этот наш сарай в кустах, он сделался просто необычайно популярен.

– Я видел две коляски...

– Весьма уважаемые люди, и издали, прибыли к нам с предложениями, прямо-таки радикальными предложениями.

Ромуальд Северинович поставил чашку на стол и оглянулся – не показался ли кто из оранжереи. Он уже более чем догадывался, кого может увидеть, только не хотел произносить имена вслух.

Елизавета Андреевна вздохнула:

– Это все так неожиданно.

– Как же неожиданно, извиняюсь, мы уже который год обговариваем.

– Я имею в виду этот визит. Сейчас вообще люди редко отдают визиты, а чтобы еще так внезапно и с большими планами...

Ромуальд Северинович заставил себя отхлебнуть чаю и не почувствовал вкуса, да к этому и не стремился.

– Прошу извинить, а что же вы в смысле решения?

Хозяйка задумчиво улыбнулась:

– Да, мы должны думать о выгоде, но это, знаете ли, надо уметь.

Гость хотел было брякнуть, что выгода вещь простая: или она есть, или ее нет. Он никак не мог взять себя в руки и определиться с линией своего поведения. Развлекаемые экскурсией гости прибыли не по приглашению Андрея Ивановича, так что поведение Турчаниновых по отношению к нему, соседу, нельзя назвать предательством. Гродненские гости вообще возникли тут в результате его активности. И оба решили его обмануть, аккуратно отпихнув от пирога. А то, что они оказались тут одновременно, – ирония реальности.

Попутно с этими мыслями в голове Ромуальда Севериновича набирала силу и мысль о том, что кусок-то, оказывается, еще куда лакомее, чем он себе представлял, раз такие отъявленные финансовые умы впадают в него, да еще и с применением хитрости.

Что делать ему? Нет, обиженно уезжать – ничтожная линия поведения. Он останется и поглядит в глаза господам хорошим. Впрочем, и смутить этих акул вряд ли получится, они

найдутся для объяснения. Да и объясняться не станут. Что им мнение провинциала с волчьей шкурой на плечах?

Они появились. Группа господ, не торопясь и, можно даже сказать, беззаботно беседующих. Главная интересность ситуации заключалась в том, что Лев Абрамович и пан Ромишевский были заклятыми коммерческими врагами, уже не первый десяток лет вели тягучую, с переменными успехами торгово-промышленную баталию на землях Гродненской губернии. Для каждого из них значительно дороже факта приобретения перспективного участка земли с возможностью стекольного цеха было то, что этот цех уводится из-под носа конкурента. Так что Ромуальд Северинович, приподнявшийся над своим креслом, чтобы учтиво поклониться, не вполне себе отдавал отчет в реальном раскладе ситуации. Тройной ручей и полуразваленный сарай были важны здесь не сами по себе, а как символы успеха или неуспеха.

Лев Абрамович и пан Ромишевский и в самом деле пребывали в благодушном состоянии, потому что уже поняли: в данной истории победа не может достаться никому. Господа Турчаниновы, как благородные люди, не в состоянии сделать выбор в пользу одного, потому что это повлечет удар и почти оскорбление в сторону другого. И так, риска проиграть сражения в вековой войне нет, а это значит, что нет необходимости вкладывать реальные средства в сомнительное, по правде говоря, начинание.

Такой исход дела устраивал всех.

Приближаясь к самовару, говорили не о цехе и ручье, и даже не о кактусах, они были довольно нахвалены во время непосредственного осмотра, – вели речь об авиации. Дело в том, что, проезжая рано утром сегодня по полю подле Сынковичей, Лев Абрамович и пан Ромишевский видели издали приземление аэроплана.

– О, – восклицал Андрей Иванович, – это место, знаете ли, с историей! Еще в девятом году господин Кондаков, сотрудник самого Уточкина, делал здесь ремонт и стоянку, когда откололся от каравана, совершавшего перелет Санкт-Петербург – Одесса.

Лев Абрамович заметил, что данный аппарат, вероятнее всего, принадлежит германским вооруженным силам.

– Нет, – уклончиво улыбнулся пан Ромишевский. – Полагаю, сей планер из состава русской армии.

– Из чего же вы так заключаете?

– Он двигался с юго-востока. – Польский гость обернулся к Елизавете Андреевне. – Вы не видели его в небе над имением?

Она мягко улыбнулась и сказала, что, скорее всего, еще почивала в этот лётный час.

Андрей Иванович накручивал бакенбард на указательный палец. Ему единственному было немного неловко. Явление Ромуальда Севериновича усложняло ситуацию, оставалось только любой ценой удерживать общую беседу в рамках авиационной темы.

– Откуда сейчас какие-нибудь русские планёры? – усмехнулся Вайсфельд.

– Ой, вы знаете, довелось прошлой осенью видеть один над тополевой аллеей, – припомнил радостно Андрей Иванович.

– Так то и был немец, – уверенно решил могучий старец, устанавливая толстую свою палку рядом с креслом и усаживаясь в него.

– А вы так уверенно заявляете, что немец, хотя и не видели ничего, – усмехнулся Ромишевский, оставаясь стоять и намереваясь кушать чай в таком положении, раз уж Вайсфельд сел.

В чем, в чем, а уж в авиации Ромуальд Северинович специалистом себя не считал, поэтому помалкивал, хотя и хотелось высказаться. Чутье ему подсказывало: самое страшное не произошло, торги зашли в тупик. Значит, ничего не потеряно. Он отхлебнул чаю, уже совсем остывшего, и это было почему-то приятно. Надо было как-то включиться в разговор.

– Говорят, они берут в кабину настоящие бомбы и, когда подлетают к врагу, могут сбросить бомбу прямо вам на голову, – сказал Андрей Иванович.

– Да, – согласился Вайсфельд. – Гуляете вы по аллее, а тут какой-то немец как шарахнет по вам сверху. И куда бежать?

– Почему же немец? – уже лениво, без всякого азарта возразил пан Ромишевский.

– А у меня один мужик служил на «Гангуте», так он припер с собой колокол, повесил у нужника, так теперь, когда идет по нужде, всей деревне известно, – присоединился Ромуальд Северинович с флотской историей к военно-воздушному разговору.

На него даже не глянули.

Гости разъехались, в общем удовлетворенные ничейным результатом схватки: деньги будут целей. Андрей Иванович, провожая Ромуальда Севериновича, развел руками: видите, какие коршуны налетели, таких только допусти сюда, в заповедное наше место, и клочков не останется.

– Поймите нас, дорогой, – мягко улыбнулась Елизавета Андреевна, – мы все-таки люди другие. В быстром богатстве есть что-то пошлое, правда ведь? Вы должны нас понять. Мы уж как-нибудь тут укромно, понемногу.

Андрей Иванович заметил:

– Сказать по правде, господа эти, несмотря на всю различность, произвели на меня тягостное впечатление.

– Это лучшие, – хмыкнул Ромуальд Северинович.

Одним словом, после этого светского раута Ромуальд Северинович решил: он во что бы то ни стало овладеет ручьем и цехом.

Глава седьмая

Война Германская прошла как будто в особом, не опасном для здешних селян измерении. Наступление русской армии, отступление русской армии и наступление германской немного напоминало поведение облаков в высях над деревней.

Конечно, не могло быть так, чтобы здешней жизни в лесном мешке совсем не коснулся бег невидимых событий, – коснулся. Пять мужиков призывного возраста было вытребовано в четырнадцатом году по мобилизации. Столько же из Гуриновичей и Новосад. Ромуальд Северинович знал, кому заплатить, и заплатил – никого из ближних родственников не тронули, отчего его авторитет опять прибыл.

Почти все из здешних мужиков попали в пехоту. Двое из пятерых – Данильчик и Ёрш – вернулись, один раненный пулей, другой осколком, остальные пропали неизвестно где. Удивительно сложилась судьба упомянутого за барским столом Ивана Ровды: отправили его в Кронштадт.

Народ в Порхневичах германца, уважая, не слишком боялся, хотя он все время блазил где-то вблизи. Почему-то казалось, что оккупация – это как если бы пришли полдесятка Скиндеров, что, мы им Машек Жабковских не представим в нужном количестве?!

Жизнь в тылу, на небольшом расстоянии от фронта – не имеет значения, с какой стороны, – неизбежно превращается в спекуляцию и маркитантство, и тут уж не зевай, столько всякого имущества теряется при перевозке, залеживается до сроков списывания и нуждается в проведении над ним неофициальных приватных процедур, что тут только носом веда да глазом гляди. Озолотишься. Можно, конечно, пойти и под высшую меру, но это если совсем дурак или жадностью захлебнулся. Ромуальд Северинович много времени проводил в Волковыске и Новогрудке, там, где были железнодорожные станции и неизбежным образом возникали большие склады околвоенного имущества.

Оперировать большими суммами фуража, продуктами питания с применением мужицкого тележного транспорта он начал еще с самого начала войны. Правительственные реквизиторы были своими людьми у него в Порхневичах. И тогда командование ближним извозом

требовало крепкой руки, и такую руку Ромуальд Северинович власти протянул, заодно и помогая господам Турчаниновым. В самом начале войны к ним прислали пару поручиков, которые бегали с выпученными глазами, но способны были только на сочинение панических отчетов в свои интендантские Олимпы. Ромуальд Северинович собрал мужиков у «польской школы» в Гуриновичах, быстро объяснил им, от кого, сколько и в какой амбар засыпать, и дело пошло.

Когда накатили германцы, пан Порхневич на время затаился, но вскоре выяснилось: правила поменялись не сильно, и умные люди, такие, как те же Вайсфельд и Ромишевский, могут устроиться и не только сохранить капиталы, а даже преуспеть.

Труднее всего далась Ромуальду Севериновичу зима восемнадцатого: явившиеся с фронта мужички пришли с вредными иллюзиями в башках, наслушавшись шальных комиссарских речей о земле и воле. Кое-кого пришлось вразумлять. Но поскольку погибло больше, чем выжило, то вернувшиеся не создали массового революционного настроения, возобладала обычная привычная тепловатая тина повседневного, глухого деревенского обихода.

Отбоярившись от вторжения непрошенных финансистов, Турчаниновы жили как на острове в своем Дворце. Вокруг мировая война и пролетарская революционная буча, а у них берендеевская тишь, держащаяся только на привычном взаимном добродушии деликатных господ и непривычного к бунтовству народа.

Хворали ранним летом восемнадцатого поздние графские дети; словно в насмешку над прожектами графини завести народную больницу, все народные ребятишки бегали здоровенькие босиком, а господские даже в теплые дни сопливились и кашляли. Боялись чахотки. Городской доктор, привезенный Ромуальдом из Лиды, долго слушал худенькие тельца Ариши и Митрофана и советовал сменить климат. Доношенные по всем правилам ребятишки чахли, а родившийся семимесячным первенец Саша, появившийся как раз в снегопадную ночь погрома оранжереи в 1909 году, проявлял завидное здоровье. Турчаниновы вздыхали: какая смена климата! Фронты разваливаются, толпы безоружных, а то и вооруженных солдат шляются по дорогам, что в столицах происходит – вообще не понять. Уехать – распроститься с коллекцией, да к тому же – куда ехать?! Повсюду бесчинства и безумства. Умнее оставаться на лесном островке относительного благополучия. Пока Господь дает, надо с благодарностью принимать.

У Ромуальда Севериновича тоже хватало домашних забот. Причиной ночных сомнений был тот самый «столичный» сын Витольд. После его неказистого возвращения из Петербурга отец немного в нем разочаровался, но вскоре решил – столица была случайностью. Просто не повезло парню, в дурацкое попал семейство. Рассказы Витольда подтверждали это.

– Мы-то тебя, считай, похоронили. Ладно, сынка, отъедайся да бери потихоньку положение здесь, раз в столице не пошло.

Все военные годы Витольд подрастал с прицелом, что со временем займет место отца. А кому еще?! Медлительный, добродушный, но не слишком цепкий Донат заведомо не годился для этого места. Ольгерд-Тарас не годился также: вспыльчивый, суматошный и не шибко авторитетный даже среди одногодков. Витольд рос справным, сильным, умелым. Был не слишком внешне похож на отца. Пониже ростом, сдержанней в движениях, похож был на батьку более всего редко растущими зубами. И словно зная, что это его не красит, улыбался мало. И вот ему уже восемнадцать.

Так случилось, что у Петра Сахоня, самогонщика, подросток сын, уже упоминавшийся Антон, еще более лихой и разрывной, чем сам его вечно прокуренный сивухой батька. Но это только запах, внутрь батя принимал не часто, как, кстати, и все заросшие до бровей хвойными бородами Волчуновичи. Потомственные самогонщики не могут быть алкоголиками.

Антон тоже не имел склонности к водке. Жёнка старшего Сахоня скоростижно померла, и они хозяйствовали на пару с сыном. И отлично управлялись. Антон вроде как прямо родился со всеми умениями и способностями, которые только могут быть в сельском человеке. Начал косить, едва начав ходить; корову подоить – пожалуйста, а уж про то, чтобы вовремя и

как надо окучить картошку, стог наметать или переветать зерно на гумне – и говорить нечего. Все это умел и Витольд, но все же чуточку хуже самогонщицкого сына. И главное, он знал об этом и не мог на это махнуть рукой.

Но особенно заметно было отставание подрастающего Порхневича перед подрастающим Сахонем «на бревнах» перед девками. На той стороне Чары, рядом с кузней Повха, уж и не запомнить, кто именно, навалили кучу хорошо ошкуренных бревен. Видимо, собирались строиться, но не пошло, а «на бревнах» образовался клуб. Там, на плоском, удобном для танцулек месте над рекой, собиралась молодежь из Порхневичей. Гуриновичские любили больше попеть и поплясать у себя наверху, на площадке перед «школой». У одних, «нижних», был скрипач Лукша, с чуть кривой фигурой парень, но с удивительно нервной, живой балалайкой, на которой он наострился наяривать самодельным смычком; у других, «наверху» в Гуриновичах, была пара гармонистов, и звуки тамошнего разухабистого веселья кубарем катились «вниз», к реке. Так вот Антон, и там, и там появившись, быстро занимал первую роль. Притом что семейство было небогато, всегда был в дорогой рубаше и до блеска начищенных сапогах. «Мы лаптей не признаем», – любил повторять он присловье отца. Сахони-де пусть и не богатеи, но поставить себя могут.

Витольд и сам по праву деревенского «принца» рвался в первейшие хлопцы и компанию прихлебателей при себе имел из родственников и сыновей должников отца, но как-то все уступал Антону. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, но быть вторым в деревне совсем невыносимо. Тем более что Витольд знал: батька все время поглядывает за ним, подзуживать не подзуживает напрямую, но явно ждет, что сын заткнет голубоглазого выскочку за пояс.

Да, Антон был видный парень, кудрявый, с чистым, приветливым, но нетвердым взором и ростом на четверть головы выше своего главного соперника, которого, кстати, всегда чуть-чуть задирал. Ему нравилось, чтобы ситуация меж ними всегда была на грани драки. Девки в Антона были все поголовно влюблены, что в Порхневичах, что в Гуриновичах. Правда, замуж мечтали выскочить за Витольда, тут уж и объяснять не надо почему.

Я любую тут возьму, всем своим видом показывал Антон.

– А тебе, Витюха, придется на стороне искать, – говаривал Сахонь, нанося двойное оскорбление: и коверкая имя на мужицкий лад, и напоминая о дурацкой поездке в Петербург, из которой получилась ерунда. Это все помнили и отводили сдержанно улыбающиеся физиономии.

Витольд не прощал, накидывался, но честным образом он одолеть Сахоня не мог. Тот вел себя разумно – никогда, уже сбив с ног Витольда, не наваливался, чтобы покуражиться: раскровянил губу – и хватит.

Вот на первых весенних танцульках 19-го года, когда только-только снег отполз от «бревен» и стало где побить каблуками, под завсегдашнее нытье самодельного инструмента душевного Лукши и состоялось очередное побоище. Время было тревожное, вроде как не до сельских праздников: слухи ползли отовсюду и заползали в лесной мешок, – но от долгой зимней лени девкам и хлопцам хотелось размять ноги и почесать языки.

Да и за вечным поединком двух первачей деревенских наблюдать было забавно. Ткнув Лукшу под бок – давай чего-нибудь погорячее, – Витольд направился с заведомым видом к Наташке Михальчик, и не потому, что она ему нравилась, а потому, что предыдущую пляску провела в обхватку с Сахонем. Ему хотелось переплясать соперника. И не успел, голубоглазый кудряш вынырнул откуда-то сбоку и перехватил Наташку, которой вроде как должно было бы льстить такое положение, да только скорее нервировало: один кусок на два пса. Оба в тот день были особенно наярены, глазами будто рычат.

– Тутачки усе схвачаны, – крикнул кто-то в толпе, теснившейся поблизости, – пошукай у станицы для сабе девицы.

Антон с Наташкой уже кружились.

Витольд резко обернулся в сторону наглого голоса, собираясь проучить если и не самого соперника, то его подголоска, и надо же – навстречу ему маслено улыбалась физиономия дядьки Сашки, того самого несчастного Порхневича-выдуйдома, и чего только притащившегося на молодежную гулянку. Физиономия его лоснилась от сала: он держал у себя в сенях кусок на веревке и всегда обмазывал губы и щеки, когда шел на улицу, чтобы хвастаться сытостью. А сейчас к ней добавлялась глумливая улыбка. Негодящий Порхневич открыто радовался тому, что получает пощечину наследник Ромуальдова трона.

Вокруг заржали те, кто посмелее, – Гордиевские, Стрельчики – и прыснули трусоватые Цыдики и Саванцы.

Витольд не сдержался – рванулся в сторону дядьки и сунул кулаком в скользкую морду. Тот только захихикал: не больно.

Почти сразу же Витольда цапнула за шиворот дорогой рубахи чья-то сильная и справедливая рука. Рванула – и вот уж Витольд барахтается в мелкой весенней грязи посреди танцевального круга.

– Ах, это ты...

Над ним возвышался Антон, он не дал Витольду тут же вскочить, толкнул в плечо сапогом, Витольд упал на локоть, поскользнулся на нем – и шлеп щекой в жижу.

– Старость уважения должна получать, а не кулака, – с полномочной назидательностью сказал Антон.

Все! В голове у Витольда заалело от вспыхнувшей крови, он вскочил на ноги и дернул из-за голенища нож, не многие из Порхневичей его носили, не было такого в заводе, сам Ромуальд Северинович очень не поощрял. Сам носил, другим не разрешал. Девки завизжали, вид у Витольда был такой, что точно пырнет. Но его удержали. Свои же хлопцы, двоюродные братья Ефим и Иван, и Донат первый, удержали за плечи, как ни шипел и ни извивался. Случай был не такой. Наследник повел себя неподобающе: взрослого человека кулаком в морду, да еще своего, так неправильно.

Антон постоял с минуту, показывая – вот я весь, но дальнейшей драке не дали случиться. Увели Витольда, а он все время хрипел, что все равно зарежет.

Вечером того же дня в хату Сахоней пришел Ромуальд Северинович.

– Собирай манатки, – сказал он Антону.

Тот попробовал хорохориться: не я виноват...

– Собирайся, – сказал, тяжело вздохнув, отец. – Два медведя в одной берлоге...

– Да какой он медведь... – опять вскинулся было Антон.

– Медведь не медведь, а зарежет, – сказал Ромуальд Северинович спокойно, но однозначно.

Выгнали Антона из Порхневичей не в пустоту, добыл через знакомства место в железнодорожных мастерских в Волковыске с условием минимум год в деревне не появляться.

Глава восьмая

Встретились в кузнице у Повха. Он был громадный человек в клочковатой бороде, с вечно поднятой одной бровью – не удивление перед потоком жизни, а след от угля, шибанувшего из горнила лет десять назад; голый по пояс, в засаженном фартуке, ворочал разумными, медленными щипцами раскаленный гвоздь – чинил борону и даже не поглядывал в ту сторону своего персонального ада, где толклись трое людишек.

А именно: Ромуальд Северинович, дядька Сашка и Витольд. Родичи помирились после той истории на танцах, чего уж там. Дядя продолжал подначивать племяша, как, впрочем, он подначивал всех и каждого. Кроме двоюродного брата Ромуальда.

Говорили тихо, хотя их речь хорошо охранялась молотком Повха.

– И сколько там их?

Дядька Сашка, не любивший выражаться просто и ясно, наоборот любивший выражаться цветисто, давать информацию с антуражем, прищурился, набрал в грудь воздуха, чтобы выкачать речь-рассказ.

Ромуальд осадил его:

– Ты давай не разводи...

Сашка вздохнул:

– Семь, семь как есть. Три настоящих дезертира, нашел на станции, аж у Гибуличах. – Дядька Сашка махнул рукой, обозначая баснословную даль, куда занесла его готовность помочь авторитетному родственнику. – А другим троим дал те шинелки, что ты выкинул с конюшни. Вонючие больно, лежалые.

Витольд тронул отца за рукав: мол, три да три – это не семь. Витольд отмахнулся – такая у него грамотность.

– Повтори, – потребовал Ромуальд.

Сашка кивнул и быстро близко к тексту задания изложил план на сегодняшнюю ночь: явиться перед рассветом сюда, в кузню, запалить два факела и ими размахивать, кричать погромче про народ, про буржуев-мироедов, потом идти к главному зданию во Дворец с криками через Гуриновичи. Там встретить дезертиров у флигеля Сивенкова и все камни – в оранжерею! Пусть будет похоже на тот давний зимний случай. Но злее. Если кто присоединится, не отгонять, с собой брать и не давать расходиться. Ничего ни в коем случае не подпалить, не входить в раж, а то... И как только Ромуальд Северинович с Витольдом выскочат на широкое крыльцо из господского дома, шамальнут из револьвера в воздух, с недовольным матом и бесильными угрозами отступить в темноту. И на лодке обратно на место, к мельнице Кивляка.

– У Кивляка и рассчитаемся, – сказал Ромуальд.

Дед Сашка вздохнул, в том смысле, что неплохо было бы и авансу немного за уже проделанную работу. Пан Порхневич только ухмыльнулся в ответ – вам дай сейчас, кинетесь к Волчуновичу на бимбер, так что после этого от имения и головешек не останется.

В принципе с оценкой ситуации бригадир потемкинских погромщиков был согласен, но натура тосковала по авансу. Угрюмо кивал: ладно, подождем.

– Дезертиры не подведут?

– Не, – отмахнулся Сашка, – кожа да кости, мухи не обидят, только что глотки луженые на митингах. Домой бягут, там снова слых прошел – подтверждение на землю. Разбирать, мол, дозволяется, что от бар лишняя.

Ромуальд Северинович показал Сашке громадный кулак, которому сам Повх мог бы учтиво поклониться. Сашка понимающе кивнул и подмигнул Витольду, помалкивавшему рядом, мотая на отсутствующий ус сложную науку деревенского коварства.

– А мужики?

Сашка сделал вопросительное лицо: мол, что мужики? Однако быстро понял, что имеется в виду.

– Не, дальние мужики, з-за Сынковичей, дурнее своих коров. Говорено было с ними – не, говорят, бунтовать отказываемся.

– Ты объяснил, что для вида?

– Говорю – деревянные, как те тополя. Сивенков, можа, ведает кого, да он...

– Да, – кивнул Ромуальд, Сивенков сам был в заговоре. Только фельдшер Касьян из разумных жителей Дворца был не посвящен, пусть потом подозревает, когда уж все бумаги подпишутся. Да он все сообразит и промолчит.

Решил пан Порхневич местных мужиков к делу специально не привлекать, обойтись «заезжими гастролерами», правда, то, что переговоры с «группой» были поручены Сашке, немного настораживало. Сам втесался в дело, не отпихнешь.

Ромуальд Северинович спешил и нервничал. Жизнь в стране совсем расшаталась. Даже в здешних устойчивых местах стали мелькать тени сомнений: что? как? Арендаторы стали высказывать глупые и вредные мысли: а по правде ли их каждый год обдирают, не поменять ли договора? Даже Кивляк, злыдня с белыми веками и кулаками ниже колен, опять возобновил свой мукомольный ропот. Так он и не рассчитался за бельгийскую машину. Ромуальд Северинович специально у него на ближней мельнице сделал стоянку диверсионной бригады, чтобы в случае чего мельник не вылез с разоблачениями. Пришлось обещать и некоторое скощение долга. Кивляка надо было очень даже держать в кулаке, он сидел себе вдоль извилистой Чары еще укромнее самого пана Порхневича; если не знать особой тропки, так и не доберешься, а речка бобрами перегорожена в трех местах, отчего разливное, гнилое мелководье, никакая лодка не плывет. Дед Сашка как-то сболтнул, что Кивляк с бобрами этими в унии.

Повх проводил заговорщиков, помахав им вслед раскаленной железкой. Бобыль, молчун, не дурак, но испокон веку как бы в отборной дворне у Порхневичей, его отец служил еще Северину Францевичу, в сыне линия продолжилась. Подчинялся, правда, только самому. Витольд, например, и пробовать бы не стал приказывать Повху – даже внимания не обратит. Такая натура, и «нет ей окончательного изъяснения», по выражению дядьки Сашки.

Сам резонер отправился в лес, на тайное лежбище налетчиков, к Кивляку, а сын с отцом поцокали копытами коляски ко Дворцу. Поднялись от реки к Гуриновичам, миновали «школу». На крыльце там виднелись несколько подрагивающих на разных уровнях искр: мужики курят, кумекают. Чего им, дурням, кумекать, за них уже все понято и решено. Но что-то чувствуют.

Пан Порхневич все сильнее злился на себя, что ответственный участок работы в намеченном бунташном спектакле доверил двоюродному брату. Но выхода не было. Сашка хоть и болтун, но из своих, с ним вся нечистая тайна останется в семье. А в Ефиме или других своих не было даже чуть-чуть нужной ловкости.

Ромуальд Северинович имел на неделю пять разговоров с Андреем Ивановичем Турчаниновым, тот был в тихой неврастенической неопределенности. То ему хотелось все бросить и с семейством бежать до станции и поездом куда-нибудь в глубь России. То он вспоминал: там одни головешки остались от родительского дома, здесь хотя бы нет прямой опасности от тутейших землепашцев: смиренный народ.

Ромуальд Северинович прямолинейно не напирал – был опыт с Вайсфельдом и Ромишевским, при лобовой атаке Турчанинов вдруг кремневает, запирает все входы и выходы, и ни на какую подпись его не подвигнешь. Надо его окольно подвести к решению. Например, слухами о том, что дальние здешние деревни – Сынковичи, Драпово, Азерница, – да и некоторые арендаторы в ближайших Новосадах задумались над тем, чтобы вообще не рассчитываться по старым долгам и отказаться от любой платы впредь. Самолично граф проверить эти сведения не мог, стоило бы ему приехать хоть в те же Сынковичи, мужики по домам от испуга попрятались бы. А испуг мужицкий может перейти в злость. Действовать через приказчика Андрей Иванович тоже не мог. Приказывает по хозяйству, и уже сколько лет, Савелий Сивенков, который скажет графу только то, что скажет ему Ромуальд Северинович.

Что же делать?

Дождавшись этой фразы от смятенного Андрея Ивановича, Ромуальд Северинович посоветовал отгородиться от возможных мятежников.

Как?!

В той стороне, за тополевой аллеей, когда-то уводившей в сторону просвещенной Польши, имеются болота.

– Болота? Так они всегда там были! – поглаживал бритые брыля Андрей Иванович, он отказался от бакенбард, видя в них что-то излишне господское.

– Точно так, только неправильно мы понимали, как их с пользой применить.

– Болота?

– Именно болота, Андрей Иванович, как говорят здешние – дрыгву. Дрыгва как есть дрыгва, тополя подходят к насыпной дорожке в одну телегу шириной, по ней попадаем в Новосады, там суше, там ячмень сеют.

– А как же отец Иона? – не совсем к месту озадачился Турчанинов.

– Он в стороне, сто сажень от тропы. Тройной хутор сам по себе остается.

Андрей Иванович нетерпеливо помотал головой, у него не было нужды в таком количестве информации.

– К чему вы, Ромуальд Северинович, ведете?

Пан Порхневич достал свой большой складной ножик, игравший в его облике почти столь же важную роль, как волчья нашлапка на загривке, отрезал кусок груши, пожевал:

– Продайте болота.

Андрей Иванович поморщился:

– Кому?

– Когда тамошние бузотеры поймут, что Дворец далеко теперь, к нему нет прямого проезда, так и напирать станут на этого владельца.

– Кто купит эту вашу «дрыгву», как вы говорите, и на какой предмет, где вы сыщете такого святого и безмозглого человека?

Смысл предложения был в том, что, продав «дрыгву», Андрей Иванович окажется как на острове в окружении территорий, контролируемых кланом Порхневичей. И любой желающий завладеть Дворцом и стекольным заводиком не обойдется без договора с лидером клана. Ромуальд Северинович тем самым добивался своей цели, не пугая Турчаниновых слишком уж сильно.

В приемную залу, где за ажурным столом в плетеных креслах сидели двое мужчин, старающихся усмотреть ближайшее будущее, один расстроенный, а другой настроенный решительно, вошел ангел. Елизавета Андреевна, несмотря на три беременности, все проходившие тяжело и заканчивавшиеся подвигами рискованных родов, сохранила и дюймовочную талию, и добродушную, светлую улыбку, и бегущую походку, даже когда шла медленно.

Ромуальд Северинович встал, по традиции, повалил свое кресло, но ловко подцепил за подлокотник лезвием былинного ножа, что крутил в руках, и вернул в вертикальное положение.

– Да вот предлагает мне Ромуальд Северинович отгородиться каменной стеной от сомнительных соседей.

Елизавета Андреевна не стала брать места в креслах, остановилась чуть поодаль, где водопад портьеры налегал на тонуций в полумраке рояль. Она даже чуть оперлась на инструмент-гигант, словно прибегая к его заслуженной славе за каким-то таинственным советом. И блики от потревоженной занавеси скользнули так, будто инструмент и вправду высказался.

– А ты бы, может, послушался Ромуальда Севериновича. Разве ты сможешь назвать других таких товарищей у нас тут, кто бы так для нас был добр?

Ромуальд Северинович знал, что самый короткий путь в важном деле – он и самый рискованный, поэтому не стал выбрасывать на стол беседы карту личной заинтересованности. Перевел разговор на деток. Как, не кашляет ли больше Ариша?

– Нет.

Они говорили о здоровье сыновей, а Ромуальд Северинович прикидывал: может, стоит уже послать за господином стряпчим, может, и без громоздкой акции удастся обойтись. Павел Петрович Котляревский сидел на кухне у Сивенкова, прижав к груди папку с серебряным гер-

бом. Он соглашался со своим подозрением – дело тут не так чтобы вполне чистое, но Ромуальду Севериновичу он был ох как обязан и ох как давно, так что чего уж теперь носом вертеть. Сам он втайне не был уверен, что привезенные им гербовые бумаги обладают непобедимой ценностью. Германская власть вроде не тронула установлений насчет собственности. Но только она сама, эта германская власть, по слухам, весьма шатается. Ну, это не наше дело – вводить клиента в сомнение. Хочет бумаги с царскими гербами – получит.

Сивенков, абсолютно седой, как и обещала его фамилия, человек, постоянно двигался. У него тоже было семейство, младшенький сидел в тазу и ныл от мыла, попавшего в глаза, супруга отстраненно растирала его мочалкой, стараясь не глядеть ни на кого из присутствующих. Ее мнения никто не спрашивал: что может понимать такая худая, с начинающимся бельмом баба, но она была уверена – все кончится худо. Сивенков ходил вперед-назад по кухне, дважды задел табуретку с тазом, отчего сынишка стал нюниться еще кислее, а баба вздохнула. Сам-то господин управляющий пребывал в возбуждении положительного свойства. Если сегодня все будет справлено бумажным порядком, то Ромуальд Северинович взлетит еще выше, чем летает сейчас, и поэтому очень полезно вцепиться ему в край кафтана: так и сам вознесешься. Он поминутно предлагал Котляревскому то чаю, то жаренной на сале картошки, то закурить. Ждал: минутами прибежит самый ловкий парень из сынков Ромуальда – Витольд, ему назначено было оповещение Котляревского с Сивенковым.

Схема ладная, безопасная, испугу на господ будет напущено много, а вреда – никакого. Дезертиры поорут, получают свое – и нет их.

Сивенков волновался. Опять предложил стряпчему чаю. Баба домыла Сеньку и унесла в спальню, завернув в полотенце. Старший, Гришка, по приказу отца высматривал, что и как там.

Сивенков выскочил на крыльцо своего флигеля. Закрывая полнеба, перед его взглядом высился купол главного здания, где-то внутри перебирались звуки неумелой, рассеянной игры. Барынька оживляет сухой, как гербарий, клавиш.

Управляющий сплюнул.

Надо еще подождать. Барские разговоры, они длинные, всегда как бы не про дело, и надо иметь терпение их вытерпеть.

Сивенков снова сплюнул, слюнные железы вроде как вырабатывали бурное восхищение всесильным и пронизательным Ромуальдом. Как это он умеет и распоследнего мужика вывернуть наизнанку двумя вопросами, и с природными графьями не только не урониться, но и встать выше и тверже их?

Тень!

Бежит прыжками с широкой главной лестницы на тропу, что ведет сюда, к флигелю, где штаб предприятия.

Да кто ж это может бежать?!

Из темноты вырисовался улыбающийся Витольд.

– Не надо!

Что значит «не надо»? Чего не надо?

– Пошли сказать, чтобы дезертиры не запаливали факелов.

– И Кивляк?

Вот именно что Кивляк! Ему куда девать его дезертиров, оплата, договорились, после всего, а если ничего – так что?

Витольд заглянул в открытую дверь на освещенную, пропахшую мылом и горелым луком кухню:

– Пан Котляревский!

Тот, уже готовый, в дверях, папка под мышкой, вид принят официальный, хоть уважай его.

– Пойдемте уже.

Сивенков шумно, облегченно вздохнул, само сладилось, надо понимать. Не надо мужичьего шума разводить, уломал батюшка Ромуальд безбородого графа на одних тихих словах.

Парочка двинулась быстрым, деловым шагом к темному куполу. Теперь там будет другая музыка.

Сивенков нырнул в кухню, достал с полки высокую бутылку с длинным горлом и плеснул себе в медную кружку; когда глотнул, пришлось бежать на улицу сплевывать – баба навела там какой-то дряни для притирания Сеньке, цыпки у него, вишь, чуть не до колен. Меньше в гнилых местах на Чаре сидеть надо!

Но об этом своем несчастье Сивенков тут же забыл, обнаружив у крыльца целую, как показалось от неожиданности, толпу. Впереди Кивляк. Всегда был уродом, а в ночном исполнении так особенно. Плоский, как дверь амбара, нос круглой ручкой. Голос сиплый, как будто мукой у него там внутри все пересыпано.

– Ну!

За спиной у видения захлопали два носа. Сыновья Кивляка, оба в отца. Надо бы на них цыкнуть: валите на место, не было еще приказа, ишь, не терпится! Главное – распорядок. То, что все отменяется, Сивенков сказать как-то поостерегся, предчувствуя неудовольствие. Оно, конечно, разрешится, да пока то да сё... Пусть Ромуальд сам. Кивляки, они...

– Чё рано так?

Кивляк кашлянул, выпустив клуб пара изо рта, а у Сивенкова мысль не об вечернем холодке, а снова об муке этой, которой пропиталось все их племечко.

– Мерзнут эти.

Объяснил не детально мельник, да управляющий понял. Дезертиры, голодрань, дедом Сашкой нанятая в Кореличах, в шинелках на голую кожу, да и пьяноваты круглый день, похмелье их к вечеру и подняло.

– Сейчас, – Сивенков показал в сторону заслоняющего звездный плат купола и тут же пошел в ту сторону, – спрошу.

Он не посмел просто сказать Кивляку, чтобы он со своими дезертирами убирался обратно. Они так страшно рисовались в темноте.

Добежал до входа в главное здание. Открыл высокую, по всей высоте дребезгнувшую дверь и во мраке столкнулся со спешащими навстречу Витольдом и Котляревским.

Стряпчий полностью успел в своем деле. Время бы праздновать, но человек в мундире почему-то занудно, пискляво, но упорно просится именно и прямо сейчас отправить его из Дворца. Витольд угрюмо отговаривает, но, видимо, уступит, судя по тону, да и дело готово, чего там.

– А вы чего? – это Витольд Сивенкову.

– Кивляк.

– Какой может быть... Где?

– У меня.

– Ладно, отправляй Павла Петровича, загрузи там все, а я...

Сивенков взял под локоть уже потерявшего свою важность господинчика, направляя к коляске.

Витольд почти налетел на стену мельников и дезертиров, освещенную слабым светом с кухни флигеля.

– Все, домой.

Старший Кивляк длинно прокашлялся. Ему такое обхождение было неприятно. Неприятность начиналась с самого этого завлечения в туманную, так до конца и не понятую им историю. Привезли к нему чесоточных голодранцев с двумя винтовками на шестерых, сожрали столько... потом иди чего-то ночью к тылу оранжереи, запаливай факелы. А работа стой! А

теперь в однораз – отваливайте! Да еще от мальчишки приказ. Подчиняться Кивляк был готов только главному своему захребетнику и волкодаву Ромуальду, но чтобы им вертели его сынки!..

– Не будет ничего, домой, спать! Отец завтра заедет с гостинцами.

Маленькая толпа загудела. «Гостинцы» потребны были немедленно. Отправляться обратно в сырых лодках ни у кого не было желания.

Подбежавший Сивенков что-то шепнул Витольду на ухо. Тот аж отшатнулся.

– Чего?

Старый Кивляк взял парня за локоть каменными пальцами. Другой рукой показал в сторону Гуриновичей. Там мелькали какие-то огни. Дезертиры загудели куда возбужденнее. В том смысле – как это понимать? Говоришь – ничего не будет, а это что?

– Я сейчас, – прошептал Витольд и попытался высвободиться.

Набегающие тени тополей, Млечный Шлях ровно над катящейся коляской – пан Котляревский с большим облегчением удалялся от купленного-проданного имения. Вознесенный вверх взгляд не сразу уловил нестройность в мельтешении по бокам. И не сразу сообразил – навстречу коляске бегут не только тополя. Люди с цепями и просто палками быстро идут в сторону Дворца. Какой-то мужик вдруг прыгнул наперерез движению и схватил конягу под уздцы.

– Стой!

– То не тот! – крикнул пробежавший мимо.

Первый уже не мог совладать с загоревшимся внутри огнем. Он нанес неловкий, корявый, но страшной силы удар господину стряпчому в шею. И тот вывалился беззвучно из коляски и затаился с умершим видом на обочине.

Ромуальд Северинович с графом Турчаниновым вышли на широкое крыльцо, влекомые смутным чувством. Там, внутри, накрывался стол для пасмурного ночного торжества. Андрей Иванович был не расположен к празднованию сделки, но гость настоял. По правде, Ромуальду Севериновичу хотелось первые несколько часов после совершившегося дела подержать графа в сфере своего влияния, чтоб задушить сомнения и истерики, если таковые вдруг окажутся. Елизавета Андреевна упорхнула в детскую: кто-то из маленьких проснулся от своего игрушечного кошмара.

Граф достал из портсигара папиросу, но она оказалась пустой. Достал вторую – то же самое, – видимо, забыл набить гильзы перед укладкой; все рассеянность, усмехнулся довольно ехидно он, причем не совсем было понятно, на что направлено ехидство – на случай забывчивости или случай вопиющей уступчивости, только что имевший место.

Ромуальд Северинович предложил ему своего кисетного табачку, свернул сигарку. Граф отказался, да еще и нервно. Брезгует, что я лизнул, догадался пан Порхневич. Поздно теперь брезговать!

В каждой сделке есть явно выигравший и явно проигравший. Граф, судя по всему, начал осознавать, в каком он теперь положении. Пан Порхневич помалкивал: удачливому трудно говорить с неудачником – сплошная выходит ложь.

– А что же Павел Петрович?

– Уехал, – ровным голосом пояснил пан Порхневич и добавил: – Жена на сносях.

– Что это там?!

В глубине территории, неаккуратно заляпанной лунным светом, меж купами яблоневого сада, где-то за каретным сараем...

Так это ж горит! Люди мечутся. Пламя шибко разрасталось. Там на освещенном пятне земли разворачивалась какая-то драчка. Можно было узнать дядьку Сашку, он что-то кричит, то размахивая руками, то хватаясь за голову.

Ромуальд Северинович глубоко затынулся, сильно выдохнул, словно стараясь дымом отогнать копошащееся видение. Но, наоборот, стали видны вроде как приплясывающие или кого-

то бьющие люди там, в отсветах огня. Дубовик и Целогуз – Ромуальд Северинович узнал этих бузотеров с Тройного хутора.

Каретный сарай разгорался, и стоял такой треск, будто это бьется внутри от ужаса забытая коляска.

– Пожар, – спокойно и твердо сказал пан Порхневич графу Турчанинову, а потом, отбросив сигарку, издал воющий возглас:

– Сивенков!

Андрей Иванович смотрел на него с интересом: на каком основании этот человек знает, что происходит, и более того – знает, что надо делать?

Сивенков, мелькая белой рубахой, прибежал по дорожке, что вела от входа в его флигелек, в одной руке у него охотничье ружье, другой он отирал быстро-быстро физиономию – прочь наваждение!

– Где Кивляк?

– Ушел, а эти не уходят. Ты бы их пугнул!

Ромуальд Северинович нехорошо оскалился. Чем дальше, тем понятнее для него ситуация, и все меньше она ему нравилась. Взбаламученные дурными разговорами, мужики явились сводить счеты.

В той стороне, где дорога на Гуриновичи, плавали факелы, там снова на освещенном пространстве мелькнул Сашка, только теперь он не жестикулировал, не агитировал, – теперь его хлестали, кажется, вожжами.

– Дай сюда, – сказал пан Порхневич, взял ружье Сивенкова за верхнюю часть ствола. – Пойдем.

Сивенков не успел выпустить приклад из потной ладони, как раздался грохот и дребезг слева: вынесли окно в той части сивенковского флигеля, что была не видна от крыльца. Поверх дребезга взвился бабий визг. Пан Порхневич потянул ружье к себе. Сивенков тихо прошептал: «Не заряжено», – и вырвал из руки своего господина ствол, царапнув мушкой пальцы. Секунду они смотрели друг на друга в полной темноте, и управляющий, быстро ступая назад, повернувшись на ходу, помчался на крики своей семьи.

– А Сивенкова здесь не очень-то любят, – сказал Ромуальд.

Сзади скрипнула дверь. Граф нырнул внутрь здания.

Из темноты подплясывающей походкой показался Витольд. Страшно запыхавшийся.

– Я их останавливал, ничего не слушают, набрали дубин... и топоры... Новосадовские, и кто-то аж из Сынковичей. Овин грабят, сбили замки. От Гуриновичей тоже толпа идет.

Раздался опять звук выбитого окна со стороны флигеля.

Сивенков застонал и бросился с ружьем туда.

Ромуальд Северинович распахнул полы своего длинного пиджака и вынул из-за пояса недавно смазанный наган, отдал сыну:

– Иди на тот конец, отгоняй, лупи вверх. Нельзя, чтобы полезли в дом. Где Кивляк?

Все еще задыхающийся Витольд помотал головой: не знаю. Он видел только новосадовских, когда обгонял их – дорвавшихся по ходу до гумна, они что-то там растаскивали.

– Бей вверх, не хватало нам еще... Иди!

Сказав это, Ромуальд Северинович решительно бросился к флигелю Сивенкова. Дверь была не просто распахнута, но отломана, внутри гвалт, посреди кухни какая-то баба, вцепившись руками в волосы Сивенковой бабы, макает ее с воем в качающийся на табуретке таз с мыльной водой. В спальне сам Сивенков сидит, скрючившись, в углу, закрывшись голыми ладонями, а перед ним стоит незнакомый небритый мужик и пытается определить, заряжено отобранное у приказчика ружье или нет. Двое, вырвав ящики из комода, с феерической быстротой роются в них. На вновь вошедшего никто не обратил внимания. Где мальчишки?

Ромуальд Северинович с размаху, по-мужицки въехал в ухо гаду с ружьем, тот отлетел в сторону, и от него отлетело ружье. Гибко склонившись, несмотря на комплекцию, пан Порхневич подхватил оружие и страшным своим сапогом двинул в колено одного из грабителей сундука. Тот заорал и рухнул на спину. Напарник, быстро оценивший ситуацию, бросился к низкому, распахнутому в ночь, а вернее, выломанному окну, схватив по пути керосиновую лампу, стоявшую на подоконнике.

Сбитый кулачищем гад бочком-бочком тянул в сторону кухни, закрываясь локтем от повторного удара. Второй выл, кланяясь своей раздробленной коленке. Ромуальд Северинович сломал цевье – патронов нет. Зря!

– Где хлопцы? – спросил Ромуальд Северинович у все еще скомканного в углу хозяина флигеля.

Тот не успел ответить: в окно прилетела керосиновая лампа, шлепнула с треском об стену, и в комнате сделался сразу целый пожар. Сивенков заныл и ползком кинулся под кровать – оттуда к нему тянулись маленькие ручонки. Ромуальд Северинович сорвал с кровати покрывало и кинулся с ним на объятую огнем стену.

Почти тут же спину и руку ему окатило – баба Сивенкова вывернулась от нападавшей твари и теперь была ярая пожарница с тазом. Сивенков прижимал к груди головенки сынков, всхлипывал. Кажется, даже от радости.

С улицы донесся выстрел. Потом сразу еще два. И стало понятно: Витольдов наган заело.

– Бери хлопцев и лезь обратно под кровать, – сказал в горелой темноте пан Порхневич бабе Сивенкова. – А ты... Есть топор? Бери топор и за мной.

Когда они выскочили из флигеля, из-за купола оранжереи рывками показывалось пламя, прямо как кошмарный кокошник. Разнообразно орали, как будто участвовали не в одном погроме, а в разных. Мелькало что-то внутри здания, хлопали двери.

Витольд Ромуальдович, взяв незаряженное ружье наперевес, кинулся туда. Сивенков семенил следом, стараясь поотстать.

Глава девятая

Под утро пошел дождь. Ромуальд Северинович, проследив, чтобы останки убитых были собраны в одну телегу и накрыты рогожей, поехал в Порхневичи: надо было узнать, как прошла ночь в родовом гнезде. Сивенкову, все еще дрожавшему от страха, велено было навести порядок. Легко сказать!

– Не трясись, они сами теперь трясутся. На тебе наган. Патронов там нет, держи за поясом, чтоб было видно. Ни с кем сам не заговаривай. Только командуй. Гляди мрачно.

Управляющий кивал, но внутри у него уже абсолютной веры в хозяина не было. Вон оно как обернулось с игрушечным бунтом, не все на свете знает волчара.

Дома у себя на дворе Ромуальд Северинович встретил целое войско. Тарас и двоюродные братья, тревожные, с уже переделанными в копыа косами. Хозяин спросил, не появлялись ли чужие.

Не было, всю ночь простояли у колодца, никто не мелькнул.

– Где Сашка?

Тот явился понурый, без всякого гонора в фигуре. В синяках. Спорить было трудно – запорол дело. С ним Коник, Гордиевский, Жабковских двое.

– Ну, что? – допрос Ромуальд Северинович вел, не слезая с коляски. Дождь сеялся на него, не причиняя вреда, а Сашку и прочих как-то сразу промочил, они дрожали.

– Это Дубовик и Целогуз все перебаламутили, – сразу повел версию дядька Сашка.

– Пили?

Сашка замялся. Если по правде – пили повсюду: и на Тройном, и в Гуриновичах, наверняка и те новосадовские, кого уж совсем никто не ждал, тоже пили. Как только скользнул в народную толщу слух про бунт, стали готовиться. Все бегали к Волчуновичу. Сахонь лично развезжал накануне с большим бутылем, наливал легко, где только коня взял.

– Не понимает народ такого – бунт на шутку! – шмыгнул носом Сашка.

Спутники его закивали, подтверждая, что не может народ понять такого.

Очевидно, в самом мирном крестьянине тлеет пламя, готовое запалить факел погрома, только намекни.

– Порешили хороших людей. Лучших господ ведь не было в округе. Так ведь дело не сойдет. Следствие приедет.

Мужики стояли смиренно-смирно. Они все понимали и даже жалели, что так вышло. Но вот видишь, вышло же. Им было страшно. Слово «следствие» так просто скрутило внутренности.

Сашка порывисто вздохнул, он чувствовал себя виноватее других: все же ему было поручено не допустить того, что произошло, – но вместе с тем он ведь был и потерпевший. Как его стегал Целогуз и как попал по нему цепом Дубовик! Да, он стоял на защите, но что он может один! Сам-то Ромуальд спасал Сивенкова, в то время как толпа с дрючками и камнями да с огнем кинулась на большой дом и порешила и бар, и деток ихних.

Ромуальд Северинович мог объяснить, почему вел себя именно так: в голову не могло прийти, что мужики из Гуриновичей и Тройного хутора могут быть по-настоящему опасны. Про новосадовских и более дальних даже не думал. Опасными считал только дезертиров: чужие, лихие, пьяные люди; если от них отбиться, то и все в порядке.

– Дезертиры, – тихо, как бы пробуя ситуацию, сказал дядька Сашка.

– Чего «дезертиры»? – недовольно глянул на него пан Порхневич. И тут до него дошло: – Да, дезертиры. – Он длинно, можно сказать, сладострастно чихнул. – Запомните все и всем передайте, чтоб каждый знал, как Отче наш: всю бучу навели дезертиры. Подожгли, людей побили и по реке сбёгли.

Дядька Сашка внутренне сразу ожил – кажись, рисовалась возможность выскользнуть из страшноватой истории. И уже думал дальше:

– А кто их привел? Кивляк?

Ромуальд Северинович еще раз чихнул. Вообще-то было бы неплохо подсунуть будущему следствию этих жестоковыйных мельников: какой они кусок печени у него отгрызли своими капризами. Но нельзя.

– Про Кивляков забыть всем, и не видел их никто. А теперь идите грейтесь.

Днем прибежали сказать – прикатило следствие. Скоро. Пришлось ехать обратно. Издалека заметил – по дымящейся еще кое-где, несмотря на дождь, оранжерее ходят две худые черные фигуры в сопровождении Сивенкова с зонтом. Один черный – отец Иона, только его не хватало! Другой – на вид просто одетый в узкую шинель мальчишка в фуражке с лаковым, мокрым от дождя козырьком.

– Бурьшкин, дознаватель.

Ромуальд Северинович отметил: только дознаватель. По размеру дела полагался целый судебный следователь. Черкая в осторожно раскрытой тетради, молодой человек объяснил: поджогов на неделе уже три в округе, правда, там, ближе к Кореличам и за Кореличами, да к тому же некомплект во всех службах.

Это было давно известно пану Порхневичу. Тут и не сразуобразишь, хорошо это или все же нехорошо. Серьезного формального разбирательства бояться, скорее всего, не стоит, нету в уезде людей. Но, с другой стороны, какой силой обладает бумага, запечатанная печатью такой власти? Насколько вчера взятый торфяник – его торфяник?

Сходили в ту часть дома, где погиб Андрей Иванович. Смерть была неясная, нашли его раздавленным поперек роялем. То ли его засунули туда, то ли сам пытался там спрятаться, а инструмент на него обрушили.

– Елизавету Андреевну я возьму с собой, – сказал отец Иона, – она пока не в себе.

Дознаватель кивнул, он уже знал, в каком состоянии мать ребятишек, которым кто-то – дезертиры, надо полагать, – размозжил головы. Об угол. Непонятно зачем. Зверство.

В отдалении небольшом все время двигалась кучка мужиков, никак не укрывающихся от дождя, словно принимающих его как предварительное наказание. Ромуальд Северинович кивнул в их сторону, обращая внимание дознавателя:

– Мужики здесь мирные. Это все пришлые, что с фронтов бегут. Налетели ночью. Вот, господин управляющий из ружья в них стрелял, самого чуть жизни не лишили.

Бурышкин кивал и что-то быстро писал в тетрадь, стараясь не пустить туда сыплющиеся вокруг капли.

Сивенков что-то шепнул на ухо хозяину.

– Вон там, иди сюда, да ты.

От маленькой толпы отделился длинный, унылого вида мужик.

– Это Гунькевич, Василь. Запишите, господин следователь. Когда дезертиры подошли конюшню, он выгнал оттуда коней. Спас. А сегодня утром пошел в лес и нашел. Всех привел?

Гунькевич закивал. Коней он действительно всех собрал – куда ж им было деваться, так и стояли в ельнике между Тройным хутором и ручьем. И девать их куда? Не присвоишь: все знают – барские.

– В Порхневичи мы их не пустили и в Новосады не пустили. Мой двоюродный брат Александр Порхневич вышел с мужиками, с дрекольем и косами к кузне, вот уже ходим поглядим. Кузнец подтвердит, он всю ночь вчера стучал, бороны об каменник наш ломаются, досыть працы, срочная чинка. – Пан Порхневич сбивался на мужицкую речь, вроде как стараясь затеряться в толще народа, потому что он, народ, никогда не виноват в силу своих размеров и темноты.

Отец Иона стоял рядом и молчал. Ромуальд Северинович решил не обращать на него внимания. Что-то этот гад знает, но пока помалкивает.

– Сын мой Витольд не пустил дезертиров в Новосады, там, на аллее тополевой. Я дал ему наган, он стрелял в воздух. Они, дезертиры, побегли назад к речке, когда тут уже горело.

Бурышкин кивнул, на лице его был самый настоящий серьез и даже благодарность пану Порхневичу. Как бы он сам тут во всем разобрался. И слова были убедительные. Никаких жертв именно от нагана среди потерпевших не наблюдалось. Одного – рояль, других – об угол головенкой.

Дождь прекратился.

Бурышкин хлопнул свою форменную тетрадь, навел внимательный и грустный взгляд на выгоревшую изнутри, похожую теперь на грязный огромный подстаканник оранжерею.

Ромуальд Северинович напрягся. Это был главный момент, стала записанная бисерным почерком версия основной и законной или еще нет?

– А куда ж они ушли?

– Дезертиры, – пояснил отец Иона вопрос Бурышкина.

У пана Порхневича ответ был наготове, и ответ отличный:

– А по реке, по Чаре.

– По Чаре?

«Будет и по чаре, если надо», – буркнул под нос пан Порхневич.

– Тут в имении были две лодки для плавного отдыха. Когда эти разбойники поняли, что им не пановать тут, весь народ поднимается против, так они в панике к реке, столкнули лодки и вниз.

– Там больше ничего, дальше? – снова проявил настырность дознаватель.

– Там мельницы Кивляка, арендатора, – непрошено пояснил отец Иона и поглядел на пана Порхневича.

И тот снова не растерялся:

– Да, мельницы, у Кивляка-арендатора сыновья такие бугаи, отбились, короче говоря, они от дезертиров. Те на лодках мимо.

– Вы с ним, с мельником, разговаривали?

– И вы можете поговорить. Только к нему надо теперь в обход, можно от Новосад заехать, можно от Порхневичей.

Бурышкин отворил тетрадь, что-то в ней высматривал. Вписал несколько обдуманных только что мыслей. Потом еще что-то. Закрыв, поскреб уголком тетради подбородок.

– А что там дальше? За мельницами?

Отец Иона и пан Порхневич чуть наклонились в его сторону. Одновременно поняли, что, по всей видимости, имеется в виду. Ромуальд Северинович развел могучими руками, отец Иона улыбнулся и тонко прошипел:

– Пуща.

– Там можно скрыться?

– Хоть с целым полком.

Бурышкин кивнул пану Порхневичу за образный ответ.

Пошел снова дождь, да злее, чем предыдущий.

Сивенков осторожно предложил откусать, раз уж такое дело – хоть на пепелище, да харчи.

Отец Иона отказался: у него неотложные надобности, людей надо отпеть и о графине позаботиться. Она не в себе.

– А где мальчик Турчанинов? – вдруг спросил батюшка.

Ромуальд Северинович опять-таки ответил быстро, как будто знал наверняка:

– Дезертиры с собой уволокли.

– Зачем он им?

– А иди спроси этих шальных, что у них в башках.

Бурышкин отошел на несколько шагов в сторонку и теперь стоял под яблоней, безучастный к происходящему, защищенный от дождя не только кроной, но и невидимой оболочкой, что дает ощущение выполненного долга.

– Дай ему пятерых мужиков на могилки, – шепнул Сивенкову пан Порхневич, – а вечером пойдешь по хатам собирать грабленое.

В круглом лице управляющего явилась некрасивая неуверенность. Ромуальд Северинович хотел было повысвить голос, да нельзя было при таком собрании. Он поискал глазами, помянул к себе непреклонным пальцем Гунькевича.

– Сегодня начнешь чинить конюшню, бери там кого в помощники, кто еще старался. Потом овин. Закончишь – прощу.

Гунькевич расплылся в улыбке. Он хотел было канючить, что-де лишь в сторонке стоял, что было почти правдой, а его, кажись, отлепляют от этой истории подчистую. И можно не бояться человека из города с черной тетрадью, а конюшенку поправить – что это нам? Главное – прощение!

Сивенков понял.

– Только за стол вас посажу и пойду по дворам.

– Да, лучше сразу, пока добро не прижилось к новому месту.

Ромуальд Северинович знал, что руки мужика мгновенно срастаются с имуществом, только вложи его в них. Понизил голос:

– И Дубовика с Целогюзом сюда. Пусть вон там, под липой, за флигелем ждут.

Сивенков кивнул.

После третьей большой рюмки со следователя слетела вся официальность и выявилась его подлинная на сей момент сущность – страстное желание пожаловаться. Накрыли у фельдшера Касьяна в торце флигеля, убившего неделю назад по каким-то своим делам. Супруга Сивенкова имела ключи от всех кладовых, поэтому накрыто было щедро и даже с редкостями: например, имелись две банки французских консервированных сардин и сыр.

Бурышкин ел много, поэтому пьянел медленно. Рассказывал интересно, пан Порхневич со значительно большей отчетливостью представил себе картину нарастающего административного и документального хаоса на окружающих территориях, и его сильнее стал грызть червяк сомнения насчет законности полученных вчера от графа подписей.

Появился Сивенков, шепнул на ухо – пришли, ждут. Ромуальд Северинович опрокинул в рот налитую до краев рюмку и сказал Бурышкину, что вернется.

Дождь был мелкий, поэтому под густой липой было все еще сухо. Целогуз и Дубовик мяли шапки и не смели смотреть на подходящего к ним могучего хозяина. Дубовик был хлипкий, несмотря на фамилию, мужичонка, сильно вытянутый вверх, с гундосящим голосом. Нос у него был сильно поцарапанный, словно он именно им орудовал вчера на пожаре. Целогуз был меньшего роста, но с мощными, как бы раздутыми членами, толстый лоб, толстые губы, очень густые брови.

Ромуальд Северинович остановился напротив и стал молча их разглядывать. Они время от времени поднимали глаза и, обнаружив, что пан Порхневич все еще глядит на них, опускали взгляд.

– Ну, Петро, рассказывай.

Дубовик вздохнул.

– Ты ведь детишек за ноги да об угол.

Только вздох в ответ.

– Тогда ты, Леонтий, расскажи, как давил барина роялем.

Ответил Петро сухим хрипом:

– Бес попутал.

– И бимбер.

И все надолго замолчали.

– Ну, – прервал молчание Ромуальд Северинович. – Пошли бумаги писать. Сознаться.

Оба стали переминаясь, покашливать, в глазах быстрый ужас.

– Пошли, следовательно, можно сказать, из-за вас приехал.

– Бес попутал.

– Бимбер.

Ромуальд Северинович отвернулся, сделал два шага в сторону флигеля, потом обернулся и погрозил пальцем:

– Только учтите, я все знаю, мне только свистнуть куда надо.

Оба рухнули на колени, прижимая к груди шапки.

Глава десятая

Никакого больше следствия не было, чего опасался Ромуальд Северинович. Об эмиссарах Временного правительства только поговорили, никто их вживую не видел. С осени стала власть устанавливаться большевистская, много ходило рассказов, что простые люди примыкают к присланным из городов личностям и образуют какие-то ячейки.

И обнаглел дядька Сашка. Он вдруг перестал быть ниже травы и изображать из себя жертву. Оказывается, ведь он был одним из вожаков народного восстания и пострадал от верных старому режиму дурней и предателей мужицкого дела. Увидел у племянника Тараса ста-

рую офицерскую фуражку, уговорил отдать, отодрал невесть от чего кусок красной бязи и запахнул за околыш. Расхаживал по веске героем. Нагло и полностью приписывал себе руководство восстанием во Дворце и ждал, когда его официально введут в какую-нибудь должность. Успокаивал состоятельного брата – не дрожи, мол, прикрою, когда встану на сильное место. Оно ему шло, по его прикидкам, всенепременно. Сам он все больше проникался уверенностью, что он герой революции. Ромуальд отчасти с усмешкой, а отчасти и всерьез отгрузил ему ночью, чтоб никто больше не раскатал губы, пару мешков муки. И когда дядька Сашка в его присутствии развирал все шире свою героическую былинку, только усмехался в усы. Целогуз, Дубовик и другие активные участники погрома помалкивали, и даже более того – поддерживали байку про революционные подвиги дядьки Сашки.

Но исторической стихии, что возобладала над территориями вокруг Далибукской Пуши, было недосуг оплодотворять должностные фантазии революционного бобыля. Настал слух: Красная армия пошла на запад. Обернулось вскоре другим слухом: Тухачевского сильно трянули под Варшавой.

Ромуальд Северинович прислушивался да с собой советовался. Как себя вести-то при таких бурных и, главное, непредсказуемых переменах? По бумагам, запечатленным господином Котляревским, он был вроде как подлинный и однозначный владелец дворцовых торфяников и рощ, что за ручьем. Местные людишки – это Ромуальд отметил давно – картузы стали при его появлении сдирать с башки с большим чувством, чем прежде. И чувство это было не столько прежним – признание богатой силы, а немножко в нем чудилось трепета под названием «отец ты наш, заступись, никому мы не нужны, ты один тут с правдой в голове и кое-какими кулаками».

Пан Порхневич, с одной стороны, эти знаки внимания принимал, а с другой – все старался вычислить, не будет ли при перемене политической погоды ему за эту мелкую славу какой-нибудь закавыки по новому закону. Да и людишки – сейчас льнут, а после так и пнут, стоит тебе чуть ослабнуть.

Стал часто закладывать бричку и наведываться то туда, то сюда. Лавочники в Новогрудке и Волковыске всегда всё знали, уверенно обо всем рядили, но всегда ошибались. Готовились поклониться германскому порядку, да он как-то сам собой рассеялся, даже толком его не попробовали. Выбросили товар на прилавки, а тут красный гегемон, и давай все хапать по праву революционной ситуации. Еле малую часть спасли по подвалам. Совсем зажурились – а тут опешили под Варшавой самого Тухачевского, и побежали краснопузые, бросая награбленное.

Генадя был уже старшим приказчиком в пивной лавке пана Вайсфельда в Волковыске. Интерес к экспансии на дворцовые торфяники значительный гродненский богач временно утратил, был занят делами в губернском центре. Давно понял: на этого младшего Порхневича можно положиться. Отец Иона – давний исследователь местного народа – сделал такое наблюдение: коли уж белорус обретет над собой начальника, то станет тот начальник ему ближе отца родного, все отдаст белорус, чтобы ему угодить, видя в этом специальную такую честность. Причем, в отличие от хохла, искренне, без заднего черного подсмеха. Душа белоруса чиста, как полотно, стирание лучшим мылом.

Генадя часто и подробно сообщал дяде все перипетии уездной торговой жизни. Глаз у него был острый, разумение основательное. Ромуальд Северинович понял эту рябь событий так: не надо делать никаких рывков, выгоднее приглядываться. Привозимые в город мелкие партии простого сельского товара – мешок пшеницы, пару решет с яйцами, бочонок меду – Генадя сразу отхватывал и распахивал, ибо знал куда. И рассчитывался той валютой, что была в ходу на тот момент. Были большие царские бумажки с толстой теткой и синим штампом у нее на груди, были темно-пестрые керенки; устойчивостью какой-то повеяло, когда племянш бросил на ладонь Ромуальда большие белые монеты с мощными орлами. Злотые. Пан Порх-

невич всегда, перед тем как ехать обратно, отправлялся в трактир «Империл», где солидно, хотя и без особенного шика, обедал. Официанты его знали, сам пан Омюлькевич, управляющий заведением, приветствовал его, случись ему оказаться в зале. В этом провинциальном и просто одетом пане Порхневиче было то, что более всего впечатляет людей из obsługi, – самостоятельность. Он всегда давал на чай немного, было понятно: не жадина, хозяин. Он всегда ел свой сытный обед и выпивал полштофа водки, что бы там, на улицах истории, ни происходило. Можно было сказать, что пан Порхневич распространял веру в самого себя, и ему были многие благодарны за факт его вроде не пышного, но прочного существования.

Навещался им и пан Бартошевич. Странно, но с очевидным и повсеместным оживлением польского духа старик стал чахнуть. Все вокруг приобретало новый, остро польский смысл. Кажется, радуясь, а он хворать. И речка искрится по-польски, и ветла наклонена польской светлой печалью, и все прежде возносившееся перед польским скукоживается и норовит мимо по улице пробежать, униженно кланяясь.

Ромуальд Северинович некоторое время рассчитывал на то, что в начинающейся жизни его польская половина, пусть и не всеми признанная, тоже пойдет в рост и ему перепадет, он будет важным кустом на новой государственной клумбе. Первый сигнал отрицательного вида пришел как раз из костела. Витольд, Тарас и Донат отправились на службу, предварительно выслушав подробное наставление отца, что им говорить на исповеди. Вернулись битые и угрюмые.

Что такое?

Лелевичи.

Ах ты, Матка Боска!

Тот случай с перевернутым возком наглого кореличского шляхтича дал новый росток.

Мы не пыжились, мы не ставились, даже в костел не успели войти, объясняли сыновья. Лелевич Анджей, самый негодный и напрасный человек во всей округе, но с самым выпущенным на поверхность гонором, стал задирать провинциальных парней, высмеивая их одежду, простые сапоги и неловкую повадку. Мол, чего вы, мужичье сиворылое, кровь собаки безродной, прикатились в святое место! Обиднее всего, что к Лелевичам присоединились и другие. Ромуальд Северинович расспросил фамилии, сверился со своим списком – среди налетевших были и сынки должников, и сами должники. Плохо дело: решили, что при новой власти платить не придется.

Парни ждали от отца решительных шагов, а он задумался. Съездил к ксендзу Бартошевичу, тогда и увидел, что тот слабеет. Ксендз-то на его сторону встал, да только на словах. Объяснил то, что Ромуальд и так понимал. У этих лайдаков, Лелевичей и прочих, не просто национальная гордость из-за польской военной победы, но и прямая корысть, новая власть посечет в мелкую лапшу все долговые счета, если они от неполяка к поляку.

– Наши жиды уже плачут, – закашлялся Бартошевич.

– Но я ж не жид, – жутко пожевал губами Ромуальд Северинович.

– Но и в полнейшие поляки тебе не дадут выйти. – Ксендз закашлялся, ему внесли чашечку лечебного питья. – А может, и пробьешься.

Уехал. Ладно. Пока погодим. Драться к костелу ездить не будем. Пока. И векселя попридержим, дела исправятся, не может нормальная власть, какой бы польской она ни была, отменить все долги и правила. Ну, с жидами куда ни шло, им не впервой терпеть, они всегда вывернутся, ну а ему, Порхневичу, за что страдать?

Во время очередной поездки в Волковыск столкнулся в «Имперале» с совершенно неожиданным паном Вайсфельдом. Этот мосластый, тяжело ступавший старик с большой белой бородой, презрительным моноклем, в черном костюме из английской шерсти, с такой толстой цепочкой для часов, будто их стрелки показывают особо важное время, Ромуальду

Севериновичу нравился, хоть и еврей. Особенно невозмутимой общей манерой. Выправкой, сединой, моноклем – всем.

И даже это отношение сверху вниз Ромуальд Северинович простил твердому джентльмену, он умел признавать значительность в людях. Но простил не без внутренней ухмылки: хочешь превозноситься – превозносись, но ведь если всю картину окинуть – выиграл-то он, мужикошляхтич, а не гродненский торговый лорд. Судя по косвенным признакам, Лев Абрамович эту свою неудачу признал для себя необидной, ни личного, ни коммерческого зла не затаил, вон и Генадю продвинул по службе.

Состоялся обед. Причем состояться ему было трудно. На кухне заведения – пан управляющий виновато и даже удивленно развел руками – ничего нет из пищи, какую можно было бы предложить таким господам. Ромуальд Северинович принес лично из своей коляски решето с яйцами и шмат сала. Цыбуля-то е? И заказал яичницу. Огромную.

– С салом? – немного смутился пан Омутькевич.

– Напшут! – скомандовал мощный гость.

Подали также самогон из Пуци, «фабрика» Волчуновича работала с полной нагрузкой, и теперь можно было не таясь транспортировать в город. Налили в штоф с царским гербом.

Лев Абрамович сначала кашлянул с сомнением, увидев на крахмальной скатерти сковородку с раскаленной свининой, но, не сказав ни слова, вооружил руки серебряными инструментами и стал есть с совершенно внеконфессиональным аппетитом. И заговорил о том, что революция прежде ударяет по самым хрупким достижениям цивилизации. Вот, например, гастрономия – никакой возможности нету следовать своим пищевым привычкам.

– Сегодня вам подадут яичницу из двадцати яиц, и больше ничего, а завтра – кусок конины, а в третий день – каких-нибудь моченых яблок. Ведро. С голоду помереть вроде бы не помрешь, но о маленьких застольных радостях жизни придется пока забыть. Еда – удовольствие, доступное человеку в любом возрасте. В моем – это чуть ли не единственное из удовольствий.

Ромуальд Северинович обратил внимание, что к рюмке собеседник не прикасается. Лев Абрамович сказал:

– Вот я привык утром выпивать большую чашку такого напитка: половина кофе, половина какао и буквально одна капелька рома. Без этого декохта день мой пуст. Отчего, скажите мне, владельцу трех фабрик не позволить себе такой слабости? Сейчас нам принесут чай, и это будет ужасный чай. Раз уж у нас была сытная яичница, больше нам ничего не положено.

Принесли чай, пан Омутькевич с ужимками извинился за его качество.

– Вот видите, – сказал господин Вайсфельд, достал из кармана трубку, коробку для табака и не спеша снарядил устройство для курения.

– Еще неделю назад, пан Порхневич, я бы сказал вам ту же самую речь, но совсем другим тоном. Я бы бодро утверждал, что все это скоро пройдет. Россия со своей революцией теперь от нас за границей, а у себя тут мы худо-бедно, быстро-небыстро наведем порядок. Появятся не только лососина и клубника со сливками. Я бы сказал, что мы как-нибудь закончим это дело со стекольным цехом, я готов разумно вложиться. Теперь я вам пока этого не скажу.

Сквозь клуб выпущенного дыма Ромуальд Северинович пытался рассмотреть выражение лица собеседника. Лев Абрамович затянулся еще раз:

– Почему вы не спрашиваете, что у меня есть вам сообщить? Вы демонстрируете выдержку или вы демонстрируете вежливость?

– Не хочу мешать маленькой радости.

– Да, трубка – как старая супруга... Скажите, вы что же, не слышали о решении сейма?

Ромуальд Северинович помотал головой.

– Они там в Варшаве решили наградить героев. Они победили красную конницу и теперь будут раздавать подарки. А поскольку Польша хоть и самостоятельная теперь... Богатство и свобода в разных карманах у Бога. Он выдает их по отдельности и по очереди.

– Значит, – пан Порхневич выпил сразу половину высокого винного фужера для вина, налитого самогоном, – будут раздавать земли?

Вайсфельд с неожиданной быстротой выхватил мундштук из губ и коротко ткнул им в сторону собеседника:

– Поняли, да-а. Тем более – где? Вы подумали? Считаю, вам надо подготовиться к худшему. – Он опять затянулся. – Я к вам хорошо отношусь, поэтому скажу всю правду. Дворец ведь до последнего восстания принадлежал какому-то пану, хоть и не вельможному.

Ромуальд Северинович сглотнул, удерживая сивушный, прущий наружу дух.

– Можно без гадалки сказать – какой-нибудь Суханек отличился под Варшавой и уже бегают с документами по коридорам министерства. Я не буду спрашивать, в каком состоянии ваши бумаги, но думаю, что новые бумаги перебьют старые.

Расстались дружелюбно, но Ромуальд Северинович не мог не отметить, что старый лорд поставил-таки его на место. После этого сообщения почти козырный для Порхневича расклад вокруг Дворца, что случился после пожара в имении, оборачивался набором самых ненадежных фосок, побиваемых чем угодно, лишь бы с польскими водяными знаками.

Глава одиннадцатая

Подкатывающую к Дворцу коляску Ромуальда Севериновича встретил старший сынок Сивенкова Гришка и сообщил: приехал черный писарь, батька с ним водку пьет. Пан Порхневич завернул сразу к флигелю старшего приказчика.

– Аж из самих Кореличей, – восторженно рекомендовал Ромуальду Севериновичу худого, довольно молодого, в сером кителе человека. – Пан Чуткевич.

Глазами Сивенков показывал хозяину: я весь твой, хоть бери меня вместо столба и ставь в забор.

Как выяснилось, этот первый вестник, занесенный сюда новым государственным ветром, был гминным писарем. Гмины – это такие округа, что немного больше прежних уездов. Новая власть не хотела, чтобы на креслах оставались хоть какие-то следы власти прежней.

Немного расслабленный выпитым, пан писарь, медленно и тщательно подбирая слова, разъяснил устройство нового порядка.

– Немного неудобно, – сказал пан Порхневич. – Теперь мне за каждой бумажкой... ну да ладно. Раз такое решение, будем подчиняться.

Эти слова очень обрадовали чиновного гостя.

– Списки новосадовские и дворецкие я уже получил. – Пан Чуткевич говорил по-русски, хотя в приемах его сквозило, что он именно польский чиновник.

– Да, да, – кивнул пан Порхневич, – бумаги по Гуриновичам и Порхневичам будут вам скопированы к завтрашнему. Здешний арендатор, чтоб вы знали, человек тихий, перед законом робкий, проблем у вас не будет, пан Чуткевич, нияких.

Чиновный человек удовлетворенно улыбнулся, ему про здешнего предводителя рассказывали всякое: что, мол, готовься, станет воду мутить, – а он совсем не таков.

– Кроме того, в знак специального уважения, как есть по отношению к вашей персоне... – Ромуальд Северинович поднял бокал.

Одним словом, на следующий день из Далибукской Пущи, из этой западни, про которую столько было наговорено неприятного кореличскому чину, гминный писарь убывал в добром расположении духа. За его коляской катилась специальная телега, груженная всяким ценным добром, и пан Чуткевич понимал, что за ее содержимое ни перед кем ему отчитываться не

надо. Списки арендаторов сверены, на недоимщиков будет найден способ – Ромуальд Северинович показал, в какой рог он скрутит недоимщиков, хотя бы они были и его собственные соседи и родственники. Чуткевич понимал, что доклад у гминного руководства будет легкий, а причиной этой легкости и возможности показать свой высокий класс является деликатное, дружелюбное отношение пана Порхневича. А еще говорили – волк!

Теперь надлежало провести смотр своему, порхневичскому порядку на территориях. Кто чем дышит, кто как меркует об будущем.

В Сивенкове Ромуальд Северинович был уверен.

Первым пунктом был Кивляк.

Пан Порхневич решил его удивить.

Чара прирасплылась в эту пору от дождей, так что колесной дороги от Гуриновичей не было. Тащиться через Сынковичи, да еще по сырым чащобам, не хотелось, когда можно по реке, напрямик.

Быстро сколотили плот, покрыли дощатым настилом, поставили в середине большое кресло с подлокотниками, взятое из школы в Гуриновичах. В нем еще сам пан Пшегорода сидел, закинув ногу на ногу и закрыв мечтательно глаза, и объяснял, что земля стоит на трех слонах, а те на трех китах, помещающихся на черепахе, и он знает их имена – и слонов, и китов, и даже черепахи.

Взял он с собой сыновей – Витольда, Тараса, Доната, – они огромными шестами упирались в дно, переплавляя чарскую трирему к белому замку герцога Кивляка. На плече у каждого был обрез стволом вниз – только еще начавшее входить в моду бандитское оружие лихой поры. Во внешнем виде обреза куда больше решительности, чем в облике обыкновенного охотничьего ружья, обрез резвее и злее, человека с обрезом просто так не отбреешь.

К заводи перед кивляцкой мельницей транспорты с зерном подходили по самой северной трассе, аж от Сынковичей, даже новосадская дорога была кое-где притоплена.

Мельничный правитель устроил через заводь легкий паром и по очереди перетягивал телеги с северного берега на свой, к мельнице, где хмуро, изредка отсмаркиваясь, трудились его плоские, жилистые сыновья. Сам он тоже не гнушался при особом наплыве телег и мешки поворачивать, но в основном работал хворостиной, пинком и зуботычиной.

Плавучее чудище пана Порхневича бесшумно появилось в заводи. Как бы речной царь обходит дозором владения. Как назло, в этот момент заело что-то в паромном механизме, и очередная телега зависла на воде метрах в двадцати от берега, так что можно было подумать, что это от испуга перед внезапным крупным гостем.

Причалили.

Донат остался на палубе.

Ромуальд с двумя другими сынами прыгнули ловко на берег, не замочив сапог. И двинулись в сторону мельницы по бревенчатому настилу.

Кивляк не испугался, он всегда был насквозь зол, нечем ему было пугаться, а вот сыновья стали переглядываться.

– Смотрю, у тебя праца бурлит.

Мельник неопределенно мыкнул.

Витольд, как и было приказано, вошел в мельницу, поднялся на второй этаж, выглянул из окна и крикнул – все, мол, в порядке.

Кивляк на него покосился снизу, только сказать тут было нечего.

Тарас прошелся по плотине, докуда можно было без риска соскользнуть в воду. Сплюнул в медленный поток.

Ромуальд Северинович обернулся к Кивляку и улыбнулся, показывая страшные редкие зубы:

– Ну что, будем грузиться?

По лицу мельника промелькнули медленные молнии, он одновременно ненавидел и соображал – в чем дело? Подошли сыновья, хлопывая большими ладонями по порткам и рубашкам, выжидающе глядя. Они были готовы выполнять приказы отца, да только от него не было никаких приказов.

Ромуальд Северинович объяснил: новой власти еще вчера все уплочено. Все, что с трех мельниц кивляцких полагается, годовое. Гминный человек пан Чуткевич выдал ему, Ромуальду, бумагу в том.

– Да, я от себя мешок приложил, который как бы от тебя, в уважение. Мундиры это любят.

Положение было для мельника сложное и, если вдуматься, неприятное: он вообще-то рассматривал случай с переходом власти из Петербурга в Варшаву как возможность скинуть порхневичское ненавистное ярмо или хотя бы ослабить. Приедет чин, провести разговор, не пожадничать – кроме мучицы, были у Кивляка у свай закопаны чугушки с монетами – и прекратить правило, что всякая расплата идет только через Ромуальда. Кто он, в сущности, такой? Царь лесной? Но это в каких бумагах писано?

А он – объехал. Все внес за своего должника.

Как теперь, каким колером и гонором господин мельник наедет в Кореличи или где там теперь контора? Что скажет? Я хочу по новой рассчитаться! Ромуальд небось уж подмазал везде где надо. Да он и сам не скрывает.

– Так я тебе еще и должен? – Кивляк попробовал улыбнуться, лучше бы он этого не делал.

Ромуальд Северинович сделал серьезное лицо и сказал, обращаясь к сыновьям Кивляка:

– Идите, хлопцы, грузите. Только не на левый край, там подмокать будет.

Захар и Иван поглядели на отца, Кивляк кивнул: идите – и дал старшему ключ от амбара.

– А ты покажи, где оно было.

Мельник не сразу понял, о чем речь, особой сообразительностью награжден не был от природы. Потом догадался: Ромуальд хочет посмотреть на место, где он держал дезертиров перед налетом на имение. Медленно развернулся и повел Ромуальда вместе со спустившимися после «инспекции» Витольдом и Тарасом вдоль по берегу ко второй мельнице. При приближении процессии там тоже замерла работа. Батраки перепугались. Пан мельник идет под конвоем трех вооруженных Порхневичей – на расстрел, что ли?

Нет, обошли мельницу, а там камыши, комарье, гнильем несет, тиной.

– Что за место? – удивился Ромуальд.

Кивляк пояснил: когда он сбрасывает со всех плотин воду, тут «глыбко». Но надо пройти еще дальше, за излучку, там еще одна мельница, плохонькая, к ней и подъезд особый. Она простаивает сейчас.

И правда, неказистого вида было строение. Самая старая мельница из всех, что тут были построены, без новомодных улучшений, обомшелое деревянное колесо, от некоторых лопастей – огрызки. Узкие оконца с решетками. Хорошее место для банды.

– Так, значит, они тут мальчишку зарезали?

Кивляк молчал, прикидывая, не хотят ли ему приписать какую-то вину.

– Или утопили?

Мельник с трудом выдавил из себя:

– Не видал.

Все равно ничего больше не скажет.

– И вот, значит, туда вниз и ушли по реке?

– Лодку у меня хорошую забрали.

Мельник хотел считаться пострадавшим.

По большому счету вину за то, что произошло, следовало брать на себя пану Порхневичу, и он это один на один с собой признавал. Зачем Сашке было доверено набирать людей со стороны? Самому надо было взяться да и предусмотреть, на что способны.

Кроме того, и про своих местных надо было понимать глубже; он-то равнял их всех с безропотной скотиной, а там, оказывается, под полотняной рубахой яростное нутро. Заигрывать с народом надо уметь, и даже если умеешь, то осторожно.

Но если поглядеть шире, ведь польза, и большая, обнаруживается. Еще год назад он осторожно мечтал, как бы ему найти сильного человека, вроде Вайсфельда, чтобы совместно внедриться в имение, а теперь оно все само перед ним лежит – владей. Только медленно входи, без нахрапа. Отцу, Северину Францевичу, и в светлом сне не могло такое присниться. Растем, Порхневичи, растем, а зарываться поостережемся, нам важен барыш, а не гонор.

Рассказ того же Льва Абрамовича про варшавские законы его насторожил, но до поджидок не испугал. Как-то не верилось, что там, в новой столице, новые чиновники знают про то, что тут, под Гуриновичами, освободилось графское имение и можно на него выписывать ордер. Или все же надо бояться?

– Мои все погрузили, – сказал Кивляк. – Пойдем, что ли, стакан опрокинем?

– Пойдем, – вздохнул пан Порхневич. Кивляк ему был ясен со всей его злостью; ясно было, что, покорившись на этот раз, не перестанет он искать способ выскользнуть из-под руки Порхневичей.

Прежде чем двинуться к своему императорскому плоту, Ромуальд хлопнул Кивляка по плечу, как будто проверял, сколько может выбить из него хлебной пыли – хватит ли на лепеху.

– Ну, все, ты не жди Чуткевича и не суйся в гмину, там все обговорено.

Мог бы и не повторять, даже тугодуму было все ясно.

Ничего вроде и не произошло, а все осталось так, словно было произведено повторное и намного более основательное закабаление арендатора. Символически закрепилось все и тем, что, отплывая, пан Порхневич махнул рукой все еще висевшей посреди речки паромной барже: давай, – и она подалась. По тому берегу, где столпились телеги и мужики, прошел неопределенный ропот, в основном уважительного характера, кто-то даже перекрестился.

Следующие несколько месяцев прошли под знаком нарастающего любопытства во всех частях архипелага пана Порхневича: а что будет, когда приедет все же какой-нибудь внезапный осадник? Тогда впервые замелькало это слово.

Из-под Пружан дошли слухи – наехали осадники, а с ними и полиция, и стряпчие люди. Под Ошмянами тоже обнаружили, и все чин чином.

Кто-то говорил: германец сюда не дошел, так, может, и поляк не дойдет.

Кто-то, покуривая, замечал, что не надо ждать, что с новым барином станет лучше. Два барина всегда хуже, чем один. Ромуальд Северинович, может, и поклонится новому закону, но свою-то тайную руку с горла должников не снимет.

Некоторые, особенно мелкая голоштанная шляхта, очень-очень ждали человека из Варшавы. Даже представляли, как он прицокает на своей бричке по булыжникам тополевой аллеи. Жизнь расцветет. Но тут же огорчались: а захочет ли столичный барин править на развалинах? Кстати, «подстаканник» графской оранжереи никто и не думал восстанавливать. Кактусы засохли или выгнили.

А вдруг приедет таким переодетым Гарун аль-Рашидом – если кто слышал про этого сказочного правителя, – чтобы выведать, что тут и как, поджидают ли нового хозяина?

Или сначала пришлет свору черных чиновников с папками и острыми перьями – все описать и подсчитать?

В любом случае ожидания были разнообразны и как бы освежающие, будто в атмосферу лесного мешка плеснули немного шампанского.

«Он» все не ехал.

Ожидания стали видоизменяться. Одни стали разочаровываться, фигура пана осадника стала приобретать чуть условный характер для одних, для других, наоборот, она наливалась, ввиду своей грозной отдаленности, дополнительным весом.

Ромуальд Северинович производил впечатление совершенно спокойного человека, со своих лесных земель никуда не выезжал, даже на один день, скажем к Генаде. Было понятно: в момент появления пана осадника следует быть на месте. Первая встреча может многое решить.

И тут вдруг как удар грома: прибыл!!!

Уже прибыл, прибыл в Волковыск, хотя почему-то казалось, что это будет Новогрудок; уже стоит в «Империале» – а где же ему еще, это лучшее (хотя, откровенно говоря, и дрянное) заведение для значительного пана в уезде.

Вся округа словно набрала воздуха в грудь.

Ну, готовься, Ромуальд Северинович!

Лежала на всем снежная, хмурая, по обыкновению, беспросветная зима. Работы деревенские стихли, только молодежь вечерами дурачилась на замерзшей речке под треск нескольких костров на берегу. Сахоня уже месяцев семь как не было в Порхневичах, и некому было корезить порядок скромного лесного веселья.

Один дядька Сашка, вечно шляющийся повсюду ввиду отсутствия семейства, сотрясал воздух сакраментальными словами:

– Вот уж теперь попляшете! Что я говорил – приехал, приехал, что я говорил!

Два дня все в доме у Ромуальда Севериновича помалкивали, молча ели, помалкивали за мелкой работой во дворе, не поддерживали переговоры с сельчанами. Те при встрече с кем-нибудь из многочисленных Порхневичей вздыхали, отворачиваясь. Вроде как жалели.

Выдерживание характера – одна из самых тяжелых человеческих работ. Рванешься не вовремя навстречу опасности – проиграл. Засидишься в окопе, в окопе и заколют.

– Надо ехать, – сказал Ромуальд Северинович на молчаливом семейном совете.

И здесь произошел первый самостоятельный выход на свет этой истории Витольда Ромуальдовича, заявившего, что ехать не надо.

Отец молча поднял в его направлении бровь.

– Он уже стоит в Волковыске неделю, – пояснил Витольд. – Значит, паузу для солидности выдержал и передержал даже. Почему и сам не является, и не шлет представителей с бумагами?

Никто из участников семейного совета – Тарас, Донат и двоюродные братья отца – и слова не произнес. Ничего в мозгах не сверкнуло. Дядьку Сашку вообще не позвали, он обиженно страдал и пил с Ровдой, слушая его рассказы о титаническом линкоре «Гангут», любуясь его матросской робой с громадным воротником, бегал в туалет, переименованный в гальюн, и охотно гремел рындой, как бы подавая сигнал недовольства скрытым родственникам.

Высказался Витольд, самый почти младший, но единственный с какими-то мыслями: скорее всего, не все у пана осадника в порядке. Он или ждет чего-то, или... одним словом, он ни уехать, ни въехать во Дворец хозяином не в состоянии. Надо применить терпение, сейчас это лучшее оружие.

– А пока пусть Генадя разведает о нем и жизни его все, что можно.

Ромуальд Северинович кивнул, ему было приятно, что лучший из сыновей дельно думает. Сказал, что завтра же и заложит коляску.

Витольд опять взял слово: мол, не надо бы батьке сейчас показываться в Волковыске. У пана осадника наверняка уже есть прихлебатели, донесут. Это позиции пана осадника укрепит, покажет, что Порхневичи волнуются.

– Лучше я поеду, меня мало кто знает.

Вернулся через три дня с плохими новостями. Осадник был из тех самых Суханеков, что пострадали от царя полвека назад. По всем отзывам, превосходный польский пан. Прибыл в мундире поручика, но сразу же переоблачился в сюртук. Высок, строен, вежлив в обращении, примитивный гонор – это для здешних дремучих Лелевичей. Чин – да, небольшой, но в сово-

купности с мощными варшавскими бумагами дает первоклассное положение в Волковыске. Кабатчики даже стесняются у него требовать плату за выпитое. Вписывают в долговые листы.

А почему ж не едет глядеть имение?!

А просто противно. Прослышал про разгром и пожар и не рвется окунуть лаковые штиблеты в грязный деревенский снег.

Пьет?

Скорее гуляет, выпивает с таким достоинством, что никакой не может быть мысли о затаенной червоточине в душе или обременительной тайне.

Что касается женского пола – очень стережется. Имеющееся в городке заведение мадам Земечкис посещает только как место, где можно продолжить вечер с друзьями, расплыть шумные патриотические тосты (почему-то очень хочется любить родину, где много продажных женщин), плясать под пианино, но в комнаты для того самого дела никогда не поднимается. Видимо, брезглив.

В приличные дома зван, только уклоняется ездить: слишком рискованно для чести рассаженных по таким домам невест; стоит пару раз зарулить туда, и все – обнадежил. Нет, держится строго мужской компании.

Надо к нему поближе подгрести, чтобы проникнуть в замыслы его поглубже.

Генадя на роль такого шпиона не годился. Ему странно было бы в свои сорок лезть с дружбой к двадцатипятилетнему парню.

Опять все сходилось на Витольде.

Надо притвориться богатеньким барчуком.

Были выделены деньги. Генадя брался добыть у кого-нибудь из приятелей черную светскую пару и галстук. Только бы еще знать, как их носить.

Долго прикидывал, где бы сойтись естественным образом с паном поручиком. Оказалось, самое удобное место – бильярдная все в том же «Имперiale». Она была устроена бог весть в какие годы, в полуподвальном этаже, и там все было в порядке с киями, мелом и маркерами.

Генадя проводил Витольда до входа в заведение, сам соваться не стал: его тоже в городке знали.

Молодой Порхневич вошел в бильярдную просто, не возбудив ни интереса, ни подозрений. Под потолком слоями уже скопился дым, люди с наклоненными киями передвигались как охотники в тумане. Стоял официант с подносом, на котором теснились фужеры с покрашенным самогоном.

Некоторое время Витольд присматривался. Надо сказать, что молодой пан Суханек ему чрезвычайно нравился. Стройный, ладный в каждом движении, кончики усов искусно приподняты, дружелюбная, умная улыбка на довольно гармоничном, чуть скуластом лице. В одной руке окуроч сигары, это была не «гавана», а всего лишь «манила», но откуда Витольду было это знать; в другой сразу же оказался перелетевший из маркерской руки персональный кий. Другой маркер уже ловко ловил треугольником задумчиво раскатившиеся по присыпанному пеплом сукну шары.

Почему мы воюем с таким замечательным человеком? – сразу же задался невольным вопросом младший Порхневич. Лучше с таким дружить, если он только согласится. Какая будет радость, если мы, Порхневичи, его оберем и лишим родового гнезда, как лишил в свое время холодный русский царь!

Пан Суханек легко, очаровывая Витольда сдержанностью и точностью движений, выиграл партию у плохо различимого соперника в белом галстуке, взял с поднесенного подноса бокал с подкрашенным самогоном и отхлебнул, чуть прикрыв глаза. Вздохнул и вдруг двинулся в сторону Витольда. Тот был и смят, и рад: к дьяволу ничтожный прежний план! Может быть, удастся что-то лучшее!

– Разрешите представиться, – начал господин поручик и сразу же представился со всей небрежной пышностью, которая на такие случаи была предусмотрена в роскошном светском польском обиходе.

Витольд не мог рекомендоваться подлинным именем, будучи готов к тому, что блестящий пан отшатнется при звуке «Порхневич». Но что-то толкнуло изнутри, и он гордо произнес свою фамилию. И ничего не случилось. Господин поручик и бровью не повел. Может, и не слышал о таких Порхневичах.

Официант уже был под боком со своим подносом. Пришлось пить брудершафт по-краковски: сначала стакан с правой руки, потом такой же – с левой.

– Лучший способ продолжить знакомство... – Поручик повел окурком сигары в сторону стола.

Ну, конечно, конечно. Витольд в свое время немного нахвтался кия в доме Ивашовых и надеялся, что сможет себя показать воспитанным человеком, то есть не проиграть под ноль. Здесь в моде, как и в купеческих бильярдных на Волге и вообще в Московии, играть в игру грубую, в американку. Польские более нежные правила тут еще не возобладали.

Разбивать доверили пану Порхневичу.

Вокруг стола образовалась зыбкая рама из интересующихся и бьющихся об заклад, у кого был какой-нибудь заклад.

Пан поручик ровным, гордым голосом вдруг сказал, что ему отвратительна эта мелочная возня вокруг факта столь высоко им ставимого знакомства с самим паном Порхневичем, так что пусть мелочные отойдут и там, в темноте, числят свою грошовую прибыль. А он, как человек благородный, ставит на кон ни больше ни меньше свой замок, пребудучи в уверенности, что благороднейший пан Порхневич поставит не меньше.

– Но у меня нет замка, – очень смущенно отвечал Витольд.

– А Дворец, дворец, – послышались из углов голоса.

Тут бы Витольду надо было одуматься и даже насторожиться. Оказывается, он попал сюда не инкогнито, а как волчонок в волчью яму, всем известный всеми своими потрохами.

А ведь и правда, крутилось в воспаленной голове молодого провинциала, ему было так лестно, что столь явно великолепный пан уверен в его, Витольда, блестящих возможностях. А ведь он действительно может выпрыгнуть из темных лесных Порхневичей, становясь подлинным Порхневичем.

Интересно, что, когда на следующий день Витольд пришел в себя и узнал все детали, он практически не обиделся на пана Казимира – к концу партии они были уже на «ты». Партия была проиграна, но ужас от этого самоуправства не успел полностью охватить Витольда. Господин офицер явился к нему наутро в чистенькую, но крохотную каморку Генеди с двумя бутылками самого настоящего шампанского – и где только смог достать его в еще таком неблагоустроенном уездном городке!

Никакого хладнокровного предъявления счетов: долг бильярдный – долг чести – не было.

Пан Суханек со смехом объяснил, что под видом замка он выставял фундамент старенькой, четырнадцатого века, крепости, что неподалеку от Тухоля, где они мальчишками играли на палках в Завишу Чарного, Повалу из Тачева и великого, но всегда побеждаемого магистра Тевтонского ордена. Такой заклад в общем-то где-то равняется по статусу и стоимости «дворцу», выставленному Витольдом.

Господин поручик был самым младшим и самым любимым в своем семействе чадом мужеского пола. Ему многое позволялось, и он себе много позволял – и напозволялся до такой степени, что загладить свои столичные карточные и амурные неприятности мог только одним образом – отправившись на войну. Тем более что нужного формата война как раз подвернулась – и патриотически прелестная, и победоносная. Не претерпев и малейшего ранения, даже особых походных неприятностей, пан Казимир Суханек промчался с очумевшей шашкой через

расстроенные красноармейские строи и окончил свой поход офицером и полноценным претендентом на кусок пусть и отдаленной, но обработанной земли.

Витольд слушал этот рассказ как песню.

Почти полных четыре дня продолжался этот фестиваль вновь народившейся дружбы. К концу четвертого дня, когда молодые люди с трудом очухивались, ворочая чугунными головами на разгромленных постелях в номере, где стоял поручик, к двери номера подошла целая делегация. Делегация не формировалась заранее и сошлась как бы сама собой, но цель у нее была одна на всех многочисленных ее участников.

Первым был Богдан Суханек. Слишком долго не было никаких известий от сына, отправившегося обретать семейное гнездо. Он по опыту знал: случись успех, Казик уже бы пробравировал перед родней и удрал бы в Краков, к пани Чехонадской.

За вторым, Ромуальдом Севериновичем, сгонял Генадя. Ему было очевидно, что крепнущая дружба сильно разрушает виды на будущее семейного состояния. Племянник пана Ромуальда острее других ощущал денежную сторону любой истории, и тут было отчего разволноваться – один раз Витольд уже проиграл Дворец, вроде как не всерьез, но вдруг и всерьез чего-нибудь выкинет?

Третьим был пан Омутькевич. Он долго собирался с духом, его воспитание развило в нем предупредительность по отношению к вельможным гостям, а в том, что пан Казимир Суханек гость вельможный, можно было не сомневаться. Слухи, сопутствовавшие его приезду, были гуще того пара, что сопровождают движение паровоза. Но вот время прореживает надуманные реальности, давая видеть неприглядную суть. А она состояла в том, что пан поручик блистательно выпил все запасы пристойных вин из погребов «Империала», раздарил все пирожные, что в силах была произвести когда-то изысканная кухня, – раздарил случайным, а то и непотребным паненкам и закончил тем, что стал грабить заведение уже на пару с новым товарищем. Коллизия этой дружбы была введена пану Омутькевичу, и он просто ждал, кто кого одолеет – Суханеки Порхневичей, или наоборот, и тогда на радостях встанет вопрос о гигантском счете, и он даже, может быть, будет оплачен победителем.

Но если молодые негодники по-настоящему сойдутся, то кто платить, прошу паньства, будет?!

Пан Богдан и пан Ромуальд обреченно познакомились и в кабинетике пана Омутькевича, отослав того за сельтерской, объяснились.

У каждого из панов был план, и оба они рухнули ввиду имеющегося расклада событий. Это дипломаты говорят долго и путано, подлинники владетели говорят коротко и только по делу.

Раз из схватки ничего не выходит, попробуем соорудить альянс.

Пан Богдан объяснил в качестве первого взноса: его сын, беспутный обаяшка Казик, имеет полное право на имение, именуемое Дворец, но право, не подкрепленное документами.

Документов нет?!

Пан Богдан, несмотря на невеликий рост, выглядел весьма внушительно: большая голова, пшеничные усы, белые ресницы, мундир без знаков различия застегнут под самый подбородок, прусский жесткий взгляд. Было понятно: не характер, а сталь.

Пан Ромуальд мягко вздохнул: у нас документы есть, но только от позапрошлого правительств.

Они помолчали, высматривая друг в друге какую-то человеческую слабость и мысленно взвешивая, чья ставка менее весома в данной ситуации.

– А что, осаднический патент так и не был выписан? – вкрадчиво поинтересовался Ромуальд Северинович.

Пан Богдан уже понял этого якобы простоватого на вид провинциала. Никак не простоват. С имеющимися средствами такого не сломать, лучше привлечь на свою сторону приятным обхождением.

Все дело в том, что беспутник и красавчик Казик уже после получения всего пакета бумаг к патенту, где одного сургуча на печатях было полтора фунта, вздумал влезть в окно к жене начальника экспедиции правительственной канцелярии. Чтобы не ждать, когда собеседник захохочет, пан Богдан хохотнул сам. Каков бестиан!

– То, что влюбил в себя, ладно, но он и сам увлекся, что совсем зря в данном случае. Я под угрозой родительского проклятия заставил его бежать на кресы. Но по приезду сюда выяснилось: документы похищены.

– Похищены? – восхитился пан Ромуальд.

– Украдены, если угодно. И кем? Супруга правителя канцелярии, желая задержать Казика...

Пан Ромуальд напрягся – так, стало быть, в принципе все эти сургучи существуют?

– Но муж раскрыл тайну, как всегда, случайно и забрал бумаги к себе.

– Он порвал их? – опять насторожился пан Ромуальд, наклоняясь к собеседнику.

Тот в свою очередь тоже наклонился:

– Так нет, он придумал самый жестокий случай – сохранить их в виде мести. Теперь Казик не может требовать их возобновления.

Ромуальд Северинович кивал.

– Есть три пути, – продолжил пан Богдан, – выкупить, выкрасть, выпросить. И, как вы легко увидите, рассмотрев поближе моего сына, все три никуда не годятся.

У пана Порхневича от внезапного погружения в такие лабиринты дальней столичной жизни шла кругом голова, он ею даже слегка мотнул. И задал себе вопрос: а зачем он мне все так подробно рассказывает?

– Я затем вам так подробно все рассказываю, чтобы мы оба убедились: у нас нет другого пути, как заключить альянс.

Провинциал некоторое время старался понять, в чем попытается его обойти гость из центральных провинций государства.

– Разумеется, пан Порхневич, если бы я предложил вам брак моего Казика на одной из ваших дочерей...

Это было невозможно. Ни на Сабине, ни на Тамиле, названной в честь матери ее, Тамилы, блестящий поручик Казимир Суханек... Мезальянице такого разлива... Да и он сам не отдал бы дочку – ни одну, ни другую – на насмехательство, она что, в прачках бы у него была, что ли?

– К тому же вы уже поняли – Казик не годится в хозяева разграбленного имения. Пришлось бы братья мне, другие мои дети еще менее годны для хозяйствования на креслах.

Ромуальд Северинович кивнул.

– Во-первых, у меня большое и требующее ежедневного внимания имение под Тухолем. Во-вторых, если бы я въехал во Дворец как правитель, вы бы тут же сочли, что лишаетесь имения.

Пан Порхневич криво улыбнулся. Пан Суханек проникал своими словами в самые укромные глубины его души.

– Я предлагаю вам вариант лучше. Женитьбу самого вам важного сына на одной из моих дочерей. Они у меня погодки, обе красавицы и росли в определенной свободе – дань времени. До Баси Бжеской им далеко, но я бы не хотел сгибать их волю. Пусть выберут сами.

Если бы Ромуальда Севериновича не сбивала Бася Бжеская, то он сразу же понял бы – пан Суханек предлагает хорошее дело.

Нельзя было не зауважать голову этого не очень крупного, но весьма цепкого умом господина. Все обдумал, все углы осветил.

Только кто же?

Ромуальд Северинович пару раз кашлянул в ладонь. У него не было лучшей кандидатуры, чем Витольд, да он, видишь ли, не самым лучшим образом показался перед паном Суханеком в момент прибытия того в отель «Империял».

Видя неуверенность в манерах пана Порхневича, пан Богдан пошел ему навстречу и заметил, что не склонен слишком уж доверять первому впечатлению. Примет у себя любого из сыновей пана Ромуальда. И то, что Казимир и Витольд тесно, по-товарищески сошлись, он не считает осложняющим ситуацию.

Отцы спустились в залу и сели за стол.

Одним словом, сложнейшая ситуация распуталась как бы сама собой и ко всеобщему удовлетворению. Пан Суханек-старший на следующий же день укатил обратно – домашнее хозяйство никак нельзя было оставить без присмотра даже на лишний час. Было условлено, что не позднее чем через неделю отправятся и молодые люди.

Победа! Сдержанно, но все же радовался и Ромуальд Северинович. Дворец – наш! Суханек далеко, и править на спорной территории будут Порхневичи, а все злые языки прикусятся.

Злые языки все же нашли пищу для злословиц – перед убытием поручика с будущим родственником пришлось оплатить его счета в «Империяле». Пан Богдан вел себя так, будто никаких должных сумм в этой истории нет. Сам пил только чай с сухариками и отночевал только одну ночь. Стало быть, все шампанское падало на кошелек Порхневичей. Так вот кто-то из злоречивых и начитанных собутыльников поручика скаламбурил, что все случившееся – это «пиррова победа» Ромуальда: все пиры были оплачены им.

Вавшкевич, Лелевич и другие польские активисты распустили шутку по Волковыску, Новогрудку и Кореличам, она долго была модной в благородных домах города. Даже если кто-то там и не очень хорошо знал, кто таков был Пирр, радовались, что наглый выскочка Порхневич получил хороший удар по карману.

Глава двенадцатая

Скрепя сердце Ромуальд Северинович нарядил сына в самое добротное и ноское, снабдил деньгами, твердо присоветовав не разбрасываться золотыми. Неправильно, если он явится к Суханекам без копейки. Но хорошие отцовские советы легко затмеваются правилами дружбы, особенно если она нова и совершается на удалении от отцовского глаза.

По мере продвижения на запад Витольд начал переодеваться: сначала отделался от сапог, потом от смешного, хотя и удобного пиджака и теплых, носких шаровар, – все это заменялось на узкие краковские туфли и сюртуки, в довершение ко всему явилась шляпа-котелок. Казимир носил такую же и светлый костюм вместо офицерского мундира. Было с кого брать пример.

Путешествие проходило весело, но не бурно, Витольд все же стерегся сильных попок, бильярда и карт. При этом взаимная приязнь меж молодыми людьми только укреплялась.

«Замок» Суханеков Витольд увидел ранним тихим летним утром, когда нанятая на станции коляска обогнула холм, поросший редкими соснами, и на мгновение как бы взлетела над дивной ландшафтной картиной. Широкий, образцово тихий пруд с несколькими купами деликатных камышей по краям и длинное одноэтажное здание прямо за ним. В пруду отражалось облако, и казалось, что дом на этом облаке парит. Витольд умилился, ему все так нравилось по дороге сюда: и изящная городская жизнь больших, но не пугающих ледяной петербургской громадностью городов, и обхождение, и постепенное втекание его сознания в условности языка, до того понятного лишь частично. Прежде он как бы стоял у ограды прекрасного сада, а теперь его впустили вольно погулять. Видение облачного дома венчало строившуюся в сердце картину нового отечества. И самое прекрасное – для очаровывания всем здешним не требовалось отставлять прежнее. Оно отодвинулось внутрь души и осталось там про запас, под легким покрывалом юношеской памяти.

Коляска обогнула пруд по широкой, надо сказать, не мощеной дорожке, качая молодое сердце на волне больших предвкушений. Дом лежал спиной к пруду и миру, из которого прибыл Витольд. С лица дом глядел на свое обширное – из конюшен, овинов, огородов и навесов – хозяйство. Веселой пародией на парад почетного караула было прохождение стада могучих гусей перед самым порогом дома. Гуси были ведомы задумчивым козлом, на что с хохотом указал Казимир, продолжая радовать друга отсутствием чопорности и живым характером.

Пан Богдан стоял меж деревянными колоннами, что подпирали деревянный же, в облупившейся краске портик над входом. Он был в том же строго застегнутом полумундире и с той же трубкой в углу рта.

Молодого гостя он приветствовал подобающе, без шумных провинциальных жестов, но дружелюбно и плотно пожав руку. Рядом с отцом стояла стройная, одетая с приличным небогатством девушка лет двадцати. Достойная скромность – стиль здешней жизни, уже догадался молодой гость.

– Моя дочь Гражина, – представил ее пан Богдан.

И тут у Витольда был момент некоторой пасмурности внутри. Девушка была, в общем, без видимых изъянов, даже с хорошими темными волосами, уложенными так, что было понятно – девушка знает: это ее главное оружие. Глаза чуть узковато посажены, что случается меж полек, но большинство их ничуть не портит. Овал лица... ну, в общем, овал, троица крохотных, но все же заметных родинок на левой щеке.

– Рада знакомству, – с достоинством, но и с легкой неуверенностью сказала Гражина; она извинялась своим тоном за особенности голоса, а извиняться было за что. Изъянец был невелик: звуки, произносимые Гражиной, как бы слишком приникали к небу, отчего речь была чуть недовольная, даже тогда, когда Гражина никакого неудовольствия не выражала.

Витольд с легкой руки своего петербургского учителя начитался исторических книжек, и его всегда занимало такое явление, как династические браки, когда юношу и девушку сводят наподобие породистых животных. Каково это – в первый момент смотреть на свою суженую и открывать, какова она. Надо сказать, что Витольд не столько вдохновлялся мыслью, что он похож на участника междинастического сговора, сколько старался сдержаться, чтобы не стало заметно его разочарование. Чем бы это кончилось, когда бы не друг Казик.

– Вон они! – крикнул он.

И все посмотрели в сторону его восторженного перста – шагах в тридцати от входа располагался маленький яблонево-вишневый сад, и там меж невысоких, в густой зелени деревьев мелькали два белых длинных платья.

Казимир схватил друга за локоть и потащил туда, Витольд только и успел, что кивнуть пану Богдану, в глазах которого мелькнуло жесткое, но одобрительное свечение.

Молодые люди быстро пробежали по двору, представлявшему собой слой засохшей грязи, мимо ворот распахнутого амбара, где два мужика ворочали небольшие бочки, перепрыгнули заборчик из перекрещенных сучков – и вот они под кронами. А там... Две на первый взгляд ослепительно-красивые девушки, одетые воздушно и мило, грациозно кружили вокруг старой вишни, близко к вершине которой сидел, нахохлившись, выпучив обезумевшие от страха глаза, серый котенок.

– Казик, Казик! Помоги, он упадет!

Вишня была шершавая, серебряно обомшелая и довольно высокая.

– Казик! Казик!

Господин поручик, участник двух яростных кавалерийских атак, задрал голову и вместе со всеми следил за тем, как котенок мелко перебирает лапками и пытается отползти подальше от пугающего вида, но обнаруживает, что сейчас полетит назад.

Витольд сбросил сюртук на ближайшую яблоневую ветку, свою шляпу нахлобучил поверх шляпы поручика и с разбегу прыгнул на вишню, скользя каблуками штиблет по замше-

лой коре и перебирая сильными руками, добрался до середины ствола, протянул руку, сцапал серого дурачка, притом еще впившегося ему в пальцы когтями, и – раз-два, спрыгнул в траву.

– Это мой друг Витольд!

Тот поклонился, взял из рук поручика свою шляпу:

– А это мои сестрички Беата и Барбара.

Витольд осторожно опустил перепуганного звереныша в свою шляпу и протянул ее перед собой: мол, вот, я все сделал, теперь выбор за вами. Известно, что, выбирая щенка, дождись, какой сам потянется к тебе, с котенком то же самое. Витольд своим неопределенным движением устроил непреднамеренный символизм: та дева, что вынет котика из котелка, та и будет... Пан поручик не дал совершиться важнейшему событию, он просто вытряхнул зверушку на траву и одел голову Витольда.

Тут же за обедом молодой гость с восточных кресов познакомился со всем семейством. Юношу посадили напротив главы, вдовца пана Богдана, продолжавшего с откровенной пристальностью изучать Витольда. Беата и Барбара поместились справа и слева от него, отчего он чувствовал себя как в тисках, боялся пошевелиться, к тому же эта попытка – все время помнить, какая еда какого требует ножа. Казимир давал ему уроки, да они вылетели из головы. Девушки были, наоборот, оживленны и слова не могли сказать без смешинки или веселого намека. Воспитаны они были в своем пансионе превосходно и, если бы была нужда, дали бы примеры неприступной чопорности, но этого совершенно не было надо в сем случае. Витольда они воспринимали как новое и занимательное развлечение. Юноша был, несомненно, не так ярко хорош, как брат Казик, и не так загадочен, как брат Рафал, краковский художник, также почтивший дом родителя в эти дни, но в общем-то ничего себе. Довольно высок, строен, да к тому же успел проявить и рыцарственность, и замечательную ловкость. Теперь за столом его смущенное молчание, односложные ответы и нервное выщупывание нужных вилок в предложенном приборе выглядело почти очаровательно.

Девушкам не было сказано и полсловечка, что этот приодетый, причесанный и выпрямивший по совету Казика свою мужицкую спину провинциал может оказаться суженым. Это дало бы скандал и презрительное фырканье. Беата и Барбара воспринимали появление Витольда как папочкину прихоть, как если бы он купил неожиданное, но ладное животное для хозяйства.

Гражина, догадывавшаяся о подоплеке ситуации, смотрела на Витольда с легким презрением, которое черпала в том, что сама она ничуть собою переодетого дикаря не заинтересовала.

Казик, раз уж взял Витольда под защиту своей поручицкой дружбы, не уклонялся от нее даже перед хихикающим напором сестриц. Рафал задумчиво пялился в тарелку, хотя, например, отец и брат отлично знали, что в этой задумчивости нет никакой мысли. Рафал Суханек был как-то особенно неладен в своих творческих поползновениях, его даже краковские неудачники не считали своим, не прощая ему состоятельного родителя и считая мучительное малевание Рафала блажью, не признавая за ним права на полноценное творческое отчаяние, и даже в пьянство свое не впускали.

Застольное мучение было недолгим. Наутро барышни упорхнули, по дороге посмеиваясь над серьезностью и сосредоточенным видом Витольда. Рафал уехал через день, так и не сказав ни одного слова с молодым другом брата. Уехал, пошло кутаясь в черный плащ, скрывая горе карих глаз под надвинутыми полями широкой черной шляпы.

И Казимир, кстати, задержался не надолго. Какие-то приятели позвали его в Бещады – там оформлялась веселая курортная компания в имении полунемецкого дворянчика. Рафалу пан Суханек денег не дал, только согласился заплатить его жалкие долги, а Казимиру дал, и немало, несмотря на бурно проваленную кампанию на креслах восточных.

Казик похвастался перед новым товарищем. Витольд понял это так, что надобно в этой жизни понимать разницу между художником и поручиком. Бездельничанье второго для рода почетнее, чем трудяжничество первого.

Дальше пошло ученье Витольда, его приспособление к обширному хозяйству пана Богдана. Старый управляющий недавно помер, поэтому постепенно все нити управления стали переходить в руки Витольда. Сначала – скотный двор. Витольд приятно удивил пана Богдана ловкостью и осмысленностью своего подхода к лошадям, коровам и даже свиньям. Впрочем, ничего удивительного – хозяйство Ромуальда Севериновича имело размер немаленький, и у него было не принято, чтобы дети отлынивали от участия в нем. Батраков и сезонников разных Порхневичи набирали, но основной костяк хозяйства держался за счет домашних рук.

Ну, хорошо, усмехался в пшеничные усы пан Богдан, тогда покажи себя в командном деле. На основном дворе подвизалось из разного рода наймитов человек двадцать. От проживавших постоянно при коровьей ферме, сыродельне и на свином выгоне до приходящих с двух ближних хуторков по необходимости – плотники, скотобои и т. п. Надо было разобраться, кого к какому делу приставлять, как и почему рассчитывать, какие у кого уловки и характеры. Поначалу местные мужики пытались выразить ему какой-то гонор: мол, кто это над ними поставлен, не шутка ли это. Пришлось даже схлестнуться с одним особо рьяным – Збышком, который в отсутствие поблизости пана Богдана попытался перетянуть хлыстом молодого управляющего. Так вот на глазах целой сбежавшейся конюшни он был сбит с ног и его же хлыстом так ухажено, что только глаза не выбиты. Могли Витольда там и тихо придушить, наверно, когда б не оказавшаяся поблизости Гражина. Не специально действуя, но спасла она парня. Мужики позлобились, но постепенно пришли к выводу, что Збышко все же чрезмерно отвязался в данном случае и старый управляющий не потерпел бы такого поведения.

Витольд у входа на кухню остановил Гражину и попросил, чтобы она ничего не рассказывала пану Богдану – сам разберусь, она быстро кивнула, очень в этот момент напоминая выражением индюшку. Когда стало известно о таком повороте дела, и дворовые работники и арендаторы между собой решили больше «мужика» не задирать. Но над его диковатым выговором смеяться продолжали. Витольд сам с некоторым удивлением обнаружил: тот язык, что у них вокруг Кореличского костела считался польским, есть особого рода наречие, в глубине настоящей Польши не применяющееся, а только слегка понятное. Отчасти именно своим «польским» языком Витольд и смешил барышень во время первого знакомства. Настоящую великопольскую речь он осваивал так же решительно и деловито, как и хозяйство пана Богдана.

Хозяин, отдав приказы, уходил к себе в дом или отправлялся по делам в Тухоль и вроде как не прислеживал за каждым шагом Витольда, но был досконально в курсе не только результатов, но и мер, что применялись для достижения этих результатов. Изредка давал советы, и всегда очень дельные, краткие и не обидно сформулированные.

Приезд Витольда состоялся по весне, а в начале июня пан Богдан сообщил, что вот-вот на вакансии прибудут Барбара с Беатой. В подоплеке сообщения звучало: ты их чем-нибудь удиви.

Легко сказать.

Но придумал.

От задов дома к пруду выходили мостки, там полоскалось белье. Пан Богдан, будучи поборником тщательнейшей бытовой чистоты, имел слабость – белье, постиранное в проточной воде. Из дна этого пруда било несколько ключей, оставшихся, надо полагать, от периода последнего оледенения Центральной Европы, так что вода в пруду была свежая и холодная. В шеренге из пяти ив, что высились на берегу пруда, шелестя днем и серебрясь лунными ночами, Витольд высмотрел остов лодки. Плотник Баранский получил задание починить, а если нечего уже и чинить, то изготовить плавучее средство для приятного времяпрепровождения на воде. Заплатил тайком мастеру из своих, припасенных отцовских, и получился великолепный водный экипаж: весла, обитые сукном сиденья, навес от солнца и даже маленький буфет на корме, чтобы пристойно распушить бутылку шампанского.

Шампанское пан Богдан конечно же не разрешил: слишком сильный перепад от пансионных нравов к кафешантанному уровню, но прочее позволил.

Девушки, надо сказать, даже онемели от предложенного развлечения. Они привыкли считать отцовский дом местом, где совершается честный, мрачноватый труд, но никак не развлечения на водах.

Долго обсуждали, предвкушали – шли последние доделки корабля, вспоминали «Титаник» и прочие глупости в тему, наконец было подано плыть. Витольд, в строго застегнутой куртке, с каменным выражением лица – он уже понял, что это лучший вид поведения из тех, что он может применить, – сел на весла.

Барбара и Беата, с зонтиками от солнца, подбирая одной ручкой край платья, хотя в этом не было нужды, приблизились к борту. Гражине, тоже было направившейся вместе с ними, пан Богдан тихо шепнул на ухо: не надо. Ей кричали, усевшись: Гражина, к нам, к нам! Батюшка еще шепнул: скажи, мол, голова болит. Гражина насупилась, но подчинилась.

Катание имело большой успех. Девушки болтали, Казимир, тоже в эти дни оказавшийся дома, взял на себя роль комического буфетчика и, талантливо кривляясь, наливал в высокие стаканы яблочный сок – холодный, чуть подбродивший, кажется уже перешагнувший в подвальной темноте рубеж от сока к сидру. Витольд греб, выписывая замедленные восьмерки по глади старого пруда, от заводи с белыми кувшинками к заводи с бледно-розовыми. Так что девушки украсились букетами разных расцветок. Белая – Беата, розовая – Барбара. После завтракали на берегу – маленький выносной пикник, – а вслед за этим Витольд откланялся: дела.

Он был рад, никакая работа по хозяйству не отнимала столько сил, как роль мишени для остроумных дочек. Помогая перетаскивать лари с засоленным салом, тяжким, как камень, Витольд отдыхал от прогулки и пикника. Он знал, что ему, вполне возможно, придется обручиться с одной из двух жизнерадостных красавиц, но с одной, а как их различить? Не всегда же они будут таскать с собой охапки лилий. Посмотреть какой-нибудь из них в лицо у него решительно не доставало сил. А уж разговаривать... Впрочем, его ни на что не похожая устойчивость в молчании работала положительно на его образ. Кавалер или разглагольствует блистательно, или помалкивает мечтательно.

Когда девы отбыли – вакации оказались удивительно короткими, – пан Богдан подарил молодому Порхневичу кожаную дорогую безрукавку, в которой он теперь приобрел отчетливо господский вид, и Витольд догадался: угодил чем-то он хозяину. И это было ему очень приятно. С каждым днем молодому управляющему было все желательней быть у пана Богдана на хорошем счету. Жизнь, в которую его окунули как бы против желания, делалась все более подходящей и даже радующей. Хозяйство он освоил, правильно поставил себя среди людей дома, доказал при расчетах с арендаторами и батраками и свою расторопность, и кристальную честность по отношению к хозяйской кишени. Были ситуации, когда он мог бы позволить паре злых незаметно прилипнуть к ладоням, но он дотошно доказал хозяину, что ладони у него не липкие.

– Знаешь, что это? – спросил пан Богдан, введя как-то под вечер юношу в свой кабинет.

Витольд замер при виде удивительного помещения. Он и догадываться не мог, что такой музей может быть в здешнем, в общем-то простоватом одноэтажном особняке. По крайней мере, от дочек пана Богдана он не раз слышал словечки, намекавшие на нелюбовь строгого отца к бытовым украшениям и благам цивилизации. «Живем как во времена Микалая Рэя», – произнесла Беата фразу, оставшуюся для молодого человека загадкой. А Барбара тоже удивила однажды его, сказав, что отец удалился в «кабинет» и теперь у него такое настроение, что лучше его не тревожить.

Вот он – кабинет!

Прежде всего в глаза бросались два живописных полотна, на которых было изображено по полководцу. Один в вороненом, тускло отсвечивающем панцире и мелко завитом парике, второй – тоже воинственный человек на коне, с изогнутыми линиями оперения на всю длину спины. Оба смотрели в сторону, и оба смотрели грозно.

Весь промежуток стены между ними был увешан саблями и мушкетами. Приблизительно так же были оформлены и прочие стены, только картины там были меньше, а оружие мельче: мизеркордии, кинжалы, а то и вовсе охотничьи арапники.

Имелся стол с одним большим подсвечником, который тонул в буграх застывшей восковой лавы, как если бы был частью событий в Помпеях. Рядом с ним лежала очень толстая книга в белом матерчатом переплете, с огромным серебряным крестом на крышке – Библия, легко было догадаться. Тут же валялись пергаментные и бумажные свитки с медалями печатей на длинных просмоленных шнурках.

Пан Богдан пояснил, что и кого видит перед собой молодой Порхневич. Человек в панцире – Богуслав Радзивилл, полководец семнадцатого века и правитель тех приблизительно земель, откуда прибыл на обучение Витольд. Человек, украшенный как воин-ангел, – Мечислав Суханек, состоявший в гусарской сотне, в охране знаменитого полководца, и павший в битве при Каменецке. На меньших полотнах тоже были изображения павших родственников, и всякий раз пан Богдан благоговейно называл место, где произошло сражение. Витольд мысленно стыдил себя за то, что о битвах этих он ничего не слышал, и дал себе твердое слово освоить эту воинственную географию.

Одним из свитков, лежащих на столе, было личное послание полковника Мазовецкого, штабного офицера корпуса маршала Понятовского, прадеду пана Суханека – приказ изменить дислокацию его эскадрона, стоявшего под Эстремадурой, на дислокацию в Верраско. Из этого факта следовало, что среди Суханеков были эскадронные командиры наполеоновской армии.

В самом конце экскурсии пан Богдан отошел в темноватый угол кабинета, куда не постоянно светило солнце и где должна была содержаться память, которую не всякому гостю хочется и уместно предъявить.

– Знаешь, что это?

На длинной, высохшей, потрескавшейся в длину, отполированной сотнями ладоней дерева была торчком насажена обычная крестьянская коса, даже кое-где взятая ржавчиной.

Витольд кивнул, показывая: он понимает, что ему показывают.

– Возьми в руки.

Витольд взял экспонат в руки, ощутив всю его весомость и некоторую неловкость устройства.

– Не узнаешь?

Оказалось, что этот военно-крестьянский прибор прибыл сюда прямо из Дворца. Пан Даниэль Суханек возглавил толпу тамошних крестьян, вооруженных преимущественно вот такими страшными на вид, но мало полезными в реальном бою пиками, при приближении, пся крив, русской потной пехоты под командованием...

Опережая пана Богдана и стараясь угодить своей угадливостью ему, Витольд быстро сказал:

– Графа Турчанинова!

Нет, помотал головой, был другой, даже имя его не станет сейчас произносить он, пан Богдан Суханек, чтобы не ставить его рядом с благородным именем Даниэля Суханека.

Витольда пробрало. Его словно окунули в колодец с прошлым, и все его прежнее представление о Порхневичах и тусклой родной округе, населенной неказистыми, каждодневными, никак в большой истории не задействованными человечками, переменилось. Он внутренне расправился, и мощная благородная благодарность к этому пшеничному, твердому господину просто раздвигала грудь, чтобы верному сердцу было где биться.

Пан Богдан усмехнулся и сказал, что граф Турчанинов в общем-то, может быть, напрямую и не повинен в крови и несправедливости. Правительствующий сенат тогда свирепо рубанул по всем, на кого пала хотя бы тень подозрения в мятеже. Русские любят вот так, одним

махом, смести в Сибирь сразу полнарода, а то и целый. А Суханеки как раз не отсиживались в тени.

Витольд благоговейно слушал и готов был слушать долго, но по законам житейской драматургии возвышенная сцена была перебита бытовой дребеденью. По коридору приковывлял одноногий Янек и шумно сообщил, что известная черноухая свинья пана Тышкевича опять подкопала ограду огорода, ну и так далее.

– Дай, – сказал пан Богдан, взял у Витольда «пику» и, угрожающе улыбаясь, двинулся с нею наперевес вон из кабинета.

У всякого человека, тем более у человека с хозяйством, есть сосед. Был он и у пана Суханека. Мелкий, жалкий, однако шляхтич, по имени Тышкевич. Всего хозяйства у него был небольшой, беспутно устроенный свинарник. Неприятность состояла в том, что земли Тышкевича входили неким клином в обширные владения пана Богдана, продавать «родовое имение» – сарай под соломенной крышей, этот пан не желал. Более того, свиньи его вели порой себя истинно по-свински, пробирались со своих нищих земель к обильным кормушкам свинарника пана Суханека.

– Вон, вон она! – тыкал костылем старый Янек.

Судя по всему, эта небольшая, с двумя черными пятнами на боку соседская негодяйка уже успела нахлебаться чужого и теперь просто прогуливалась по территории свинарника, занятая каким-то, видимо, размышлением. Так получилось, что она была в стороне от прочих. Янек и парни, что управлялись тут, могли бы и сами выставить вон пятнистую нарушительницу, но им было приказание от хозяина – позвать, когда совершится очередное вторжение.

Пан Богдан, стараясь ступать по сухому, вошел на территорию свинарника, продвинулся вдоль ограды, заходя к задумавшейся твари с левого бока. Дождался, когда она полностью остановится, поднял дворцовую пику, занес. Уши скрывали от глаз хозяйки назревающее событие. Негромко, кратко крякнув, пан Богдан выпустил музейную стрелу в бок зверю. Коса была еще тогда, в исторические годы, наточена как следует. Сама по себе свинка еще не успела набрать защитного веса, и удар пришелся как раз под лопатку, куда бьет штыком мужик, нанимаемый для осеннего забоя по деревням. Получилось так удачно, как редко бывает. Свинья Тышкевича, как и полагается, взвизгнула, пробежала, волоча за собой длинное нелепое оружие народного сопротивления шагов двадцать, а потом встала, словно задумавшись – что это я делаю!

Все бывшие при событии – а сбежалось человек восемь – тоже замерли, пооткрывав рты.

Простояв мгновений десять – пятнадцать, достаточно, видимо, чтобы перед взором промелькнула вся свинская ее жизнь, нарушительница упала на колени, завалилась на правый бок, торча в небо страшным оружием белорусского крестьянина.

Пан Суханек негромко высказался в том смысле, что вот так следует поступать с каждым, кто сунется без спросу на наш двор.

Очередным испытанием для Витольда стал дальний сад. Было в хозяйстве пана Богдана исполинское яблоневое хозяйство, длиной в версту и шириной лишь вдвое меньше. Там на постоянной основе проживало человек пять обходчиков, но были они постоянно пьяны, водку, которая держала их в непрерывно метафизическом состоянии, доставляли им с недалекого завода, куда и сбывалась большая часть нарастающей в бесчисленных ветвях благодати.

По расчетам пана Богдана, сад давал прибыли раза в три меньше против того, что мог бы. Даже если принять во внимание вечно пьяноватую, нерадивую охрану и кормление барскими яблоками всей скотины на дворах у самих охранников и всех их родственников, все равно мало.

Лето шло к концу, и молодой надсмотрщик переселился в деревянный домишко внутри сада. Зная об его особых отношениях с хозяином, садовники и прочие работники уныло, но беспрекословно ему подчинялись. Витольд, до того не имевший опыта общения с такими количествами яблоневых деревьев, сумел разобраться, что тут к чему. Поголовье сада не было сплошным в смысле породы, его издавна разбили по сортовым квадратам, так что созревание

должно было наступать не всем скопом, а частями. Это облегчало задачу. Витольд не носился на выделенной ему серой в яблоках кобыле по всему ароматизированному пространству, а выезжал только в нужные места. Местные мужики, конечно, кручинились от такой его сообразительности, но и соответственно уважали. Это выражалось в том, что они даже не приглашали его к вечерней водке, которую выволакивали к обеду и ужину из сеновала, устроенного рядом с домом, признавая в нем полноценного господина, почти что настоящего шляхтича. То есть того, кто питается отдельно от народа.

Сеновал был на территории оленьего загона, устроенного несколько лет назад для Беаты и Барбары. Отец убил на охоте олениху, а детишек, уступая детским жарким слезам, было решено не пускать на жаркое, а выкормить. Сначала держали в выгородке у главного дома, а потом, когда те подросли, перенесли на территорию сада. Там был еще теленок зубра, клетка с зайцами – одним словом, небольшой зверинец. Он примыкал к задней стене дома садоводов, и они по очереди выходили кормить жвачных бездельников. Псы-охранники прекрасно дружили с травоядными и даже шлялись по их загону, могли в порыве чувств облизать мокрый олений нос – эдем, да и только.

Пан Богдан, отослав Витольда, размышлял. Казалось бы, все идет по его плану. Он был уверен, что с помощью преданного парня зарезервирует за собой развалины Дворца (он отлично был осведомлен о состоянии родовых земель). Он видел, что Витольд находится в восторженной оторопи от его дочек; к сожалению, и с их стороны образовался одинаково сильный интерес. Вплоть до того, что на очередную «побывку» из пансиона Беата и Барбара прибыли по отдельности, с разницей всего в несколько часов, закрылись в своих комнатах, и по дому было не слышать привычного их серебряного хихиканья. Они не представляли теперь собой как бы единое веселое очаровательное существо, обо всем имеющее единое насмешливое поверхностное мнение. Теперь это были две насупленные панночки, пропитанные подозрениями друг к другу.

Отец делал вид, что ничего не замечает. Оказавшийся тут же изгнанный из краковской богемы больной бескровной пока чахоткой Рафал бродил с мольбертом от Беаты к Барбаре. Он как-то проговорился отцу, что такими пасмурными и даже сердитыми они больше похожи на его сестер.

Пан Богдан скоро отослал дочек: раз за пансион плачено, извольте скучать там, а не дома. Отослал и занялся сыном, стали наезжать на дом врачи, сначала из числа тех, что можно было найти по округе, но от них не было толку, потом более отдаленные, но также не приносившие облегчения. А Казимир как-то серьезно проигрался, нужны были деньги, которые так сразу не соберешь. В общем, голова старшего Суханека была переполнена заботами.

Он пошел на болезненный эксперимент. Не желая обидеть ни одну из дочек, он обеим отправил откровенное письмо, в котором прописал всю историю возникновения Витольда в их доме. Все было не случайно, и Беату и Барбару использовали с заранее обдуманной целью. Пан Богдан был уверен, что обе дочери обидятся, и та, которая обидится меньше, и будет выбрана для этого дела, – значит, отцовы интересы, интересы рода для нее важнее собственных гордостей. Он был очень удивлен, когда выяснилось, что они не видели эту ситуацию оскорбительной для себя. Женское сознание переставило причины и следствия. Папа подумал о дочках, и Витольд, по их мнению, появился в их имении только потому, что у каждой возникла готовность влюбиться.

Он стал их отговаривать: придется в случае этого замужества отправляться на жительство не в Краков, а на восточные кресы, в земли, населенные скорее медведями, чем шляхтичами! Пенькные панночки, дворца во Дворце пока что еще нет – над этими аргументами Барбара и Беата просто посмеялись. Жертвенность во имя рыцарства – в натуре польской девы. Витольд обеим представлялся несомненным рыцарем. А то, что он немного иноземец, наоборот, привлекало.

То был августовский вечер, когда пан Богдан на своей коляске задумчиво двигался в сторону яблоневого плантация, на горизонте висела темная плоская туча, и они совместно сплющивали огонь заката; тянуло сырой свежестью, мог ударить ливень. Пан Богдан и сам не знал, зачем он едет, не с проверкой же. Все проверки и примерки показали, что яблоневая стихия покоряется Витольду. Неосознанное, но довольно настойчивое желание именно сейчас о чем-то поговорить с будущим зятем? Спрашивать у него, кто ему больше нравится – Беата или Барбара, он, конечно, не будет, не ставить же себя в настолько униженное положение к своему работнику. Он еще дочерей панских будет перебирать. Но что тогда?

Он уже почти подъехал к домику садовников, уже виднелись огоньки в его окошках, когда совсем непривычный звук затесался в ухо к пану Богдану. Он осторожно натянул поводья.

Чавканье. Все бы ничего – дикие свиньи иной раз забредали полакомиться падальцами; спустишь собак – только и видели их. Но дело в том, откуда взяться падальцам в пору несозревшего урожая. И чавканье доносилось из крон ближайших яблонь. Свиньи научились лазить по деревьям?

Ах, вот оно что!

Пан Богдан слишком хорошо знал, где живет, чтобы долго сомневаться. В пяти, что ли, верстах от его имения располагался волею победоносного правительства лагерь для русских военнопленных, брошенных самоуверенным идиотом Тухачевским, рванувшим наутек из-под Варшавы. Все окружающие жители были оповещены, что, несмотря на всю ту ответственность, с которой лагерные власти подходят к работе с колючей проволокой, какие-то особо дерзкие негодяи могут прорываться за периметр. Тогда о них предлагалось сообщать властям.

Око горизонта совсем закрылось, и в последний момент была как бы вспышка испуганного света, и пан Богдан разглядел серые, босые тени в ветвях своих яблонь. Жующие люди перестали жевать, увидев хозяина яблок. Суханеки всегда славились тем, что соображают быстро, и пан Богдан уже сообразил, как надо себя вести. Не они им пойманы, а он скорее оказался в опасности, в их мстительных лапах. Ему ли было не знать, как обходиться с военнопленными лагерная администрация, до какой жажды отомстить они замордованы.

А как еще с ними обходиться, лагерь не курорт. Нечего было соваться со своим красным флагом, куда не звали. Дохнете от тифа? Так вам здесь опять же не курорт с добрыми докторами.

Они, висая в ветвях с набитыми ртами, смотрели на одинокого поляка, который понимал, что даже если он огреет вожжами конягу по крупу, то ускакать к дому, где его людишки, ему не дадут. Перережут дорогу. Он видел, что трое стоят под деревом шагах в десяти перед коляской, примериваясь. Зачем им свидетель! Попытка сбежать будет доказательством, что он для них опасен.

Тогда вот что – пан Богдан, собирая вместе все известные ему русские слова, разбавляя их наиболее, как считал, понятными для русского слуха польскими, запел им: зря вы, хлопцы, зеленые яблоки грызете, брюхо будет болеть. Идите за мной, покажу, где спелые растут.

Сказал негромко, придав голосу старческий дребезг, чтоб меньше боялись. Когда боятся, тогда и нападают.

Мнения в кронах разделились. Это ослабило их монолитную ненависть к поляку.

Пан Богдан тронул поводья, лошадка не торопясь двинулась вперед. Сделала шагов сколько-то, расположение действующих участников сцены переменялось. Теперь уже русские утрачивали гарантию того, что наверняка накроют старика.

А коляска катилась.

– Пошли, пошли, там же, если надо, и каша есть – зачем яблоки!

Быстро темнело.

Вдалеке было слышно – первые тяжелые, как пули, капли дождя вдали по пыльной дороге.

«Пошли, пошли!» Пан Богдан продолжал что-то говорить, и самое забавное – некоторые, не все, потащились за ним, видимо поверив, что встретили доброго хозяина.

Не доезжая до крыльца, пан Суханек выскочил из коляски, вбежал на это крыльцо, рванул дверь и стал свирепо командовать, поднимая спокойно вечеряющих работников. Они, кашляя от неожиданности, поднимались, хватались за кнуты.

Когда все его войско польско вывалилось наружу, там уже стояла стена дождя, хозяин был уверен, что никого не застанет, но один дурачок все же остался – видимо, очень уж сильно хотелось кашки.

Но и он сразу понял, увидев всю кодлу: каши не будет. Кинулся бежать в чащу леса, но такая уж была его неудача: попал в проход между стеной дома и зверинцем, сам себя загнал в ловушку.

Пан Богдан горел охотничьей радостью – заманил, заманил, перехитрил. Теперь доделывайте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.